

АЛЕКСЕЙ К. СМИРНОВ

Обиженный полтергейст

РАССКАЗЫ



Алексей Смирнов

Обиженный полтергейст (сборник)

«Издательские решения»

2015

Смирнов А. К.

Обиженный полтергейст (сборник) / А. К. Смирнов —
«Издательские решения», 2015

В сборник вошли рассказы разных лет – фантастические, сюрреалистические, юмористические и прочие. Часть из них была опубликована в антологиях и журналах «Компьютерра», «Полдень, XXI век».

Содержание

В гостях у клоуна	6
Уроборос	9
Dress Tease	11
Господин очернитель	13
Вечный двигатель	18
Вдох-выдох	24
Джинн тонет	33
Пусть будут узоры	35
Пора на дембель	45
Конец ознакомительного фрагмента.	48

Обиженный полтергейст

Рассказы

Алексей Константинович Смирнов

© Алексей Константинович Смирнов, 2015

Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero.ru

В гостях у клоуна

Репортер держался подчеркнуто учтиво. И переигрывал. Он дважды без всякой нужды вскинул голову и так сверкнул очками, что выдал себя. Бесплезным движением он попытался отвлечься от копошения внутреннего ядовитого змея.

Пожилый ветеран эстрады взирал на его ужимки с обреченной невозмутимостью.

Дело происходило на даче. Шелестел грибной дождь, пахло почвой. Пели комары. Столик был накрыт на веранде. Маленький смешной чайник спрятался под смешной юбкой румяной тряпочной бабы, тоже смешной.

Репортер презирал пожилого клоуна за плоские шутки, надоевшие всей стране. Это был, разумеется, оборот речи. Страна любила клоуна. А не жаловал – репортер и его друзья.

– Пейте чай, – рассеянно пригласил хозяин, глядя в сторону.

Взор у клоуна был печальный, отчасти даже раздраженный. Репортера подташнивало от сытой хозяйской рожки с широкой пастью. Прошло пять минут, а поросычьи глазки, еще полвека назад полюбившиеся ценителям незатейливого юмора, успели ему опротиветь.

Репортер взял чашку. Клоун – тоже, не посмотрев. Мизинец машинально отставился, чтобы стало забавнее.

– Итак, об основах комического, – тяжело вымолвил патриарх массового юмора. – Вы, конечно, считаете меня старым дураком. А то еще циничным жуликом, который питается соками неразвитых масс.

– Ни в коем случае, – возмутился репортер пылко, но излишне поспешно.

– Да разве я не вижу, – вздохнул хозяин, роняя в чашку кружок лимона.

– Я признаю, что не вполне понимаю все это звукоподражание, – согласился тот. – Кнопки на стуле, шутки про водопроводчика. Но люди смеются. Мне это странно, и я хотел бы выйти за рамки обычного интервью. Если вы поделитесь тайной смешного, я постараюсь, чтобы вам не было стыдно прочесть о себе в нашей газете.

Клоун помолчал, созерцая ненастные дали, затем издал очередной вздох.

– Вы ведь очень молоды, – заметил он некстати.

Интервьюер пожал плечами. Да, он был молод. Из поколения «П», насчет которого его собеседник, кстати припомнить, постоянно шутил, к восторгу зала именуя поколением «Х» и «Ж».

– Как по-вашему, над чем смеются люди?

Чувствовалось, что клоуну мучительно скучно. В интервью он не видел никакого смысла и все, что собирался сообщить, рассказывал не однажды.

Репортер уперся пальцем в дужку очков, изобразил вдумчивую улыбку.

– Я думаю, над контрастом. Их веселит внезапное несоответствие.

– Согласен, – пасмурно кивнул комик. – Это понятно. Но что такое этот контраст?

Молодой человек задумался. Юморист словил комара, пожаткал его в кулаке, раскрыл ладонь, изучил, дунул, вытер о штаны.

– Противоречие между совершенным и несовершенным, – неуверенно сказал репортер. Хозяин отмахнулся.

– Кнопка на стуле и ничего не подозревающий человек. Кто из них совершеннее?

– Кто из нас берет интервью? – терпеливо парировал газетчик.

Клоун пожевал губами. Он понимал, что хищная юность списывает его, как старую галошу.

– Вы рискуете выслушать небольшую лекцию. Не устанете? – Репортер снисходительно фыркнул, и клоун вперился взглядом в блокнот. – Никак, записывать собрались?

– Если не возражаете.

– Конечно, конечно. – Хозяин откинулся в парусиновом кресле. – Я потому спросил, что вряд ли это кого-то заинтересует. Впрочем, слушайте. Вот кнопка. Вот человек. Не зная о кнопке, человек на нее усаживается, и публика ликует. Вы говорите – контраст; в чем же контраст? В том, что это событие беспричинно. Из сущности акта усаживания никак не вытекает, что человек должен сесть на кнопку – наоборот.

Репортер перестал строчить.

– Какое же оно беспричинное? Кнопку подложили, человек не знал и сел на нее.

Клоун возвел очи горе.

– Это подоплека события. Она не отменяет того факта, что присаживание на стул исключает наличие кнопки. Но это грубейший пример, потому что контраст рукотворный. Над ним потешаются дети и недалекие взрослые, которые только осваивают юмор противоречия и учатся на элементарных примерах. Высший пилотаж – отыскание естественного контраста. Обнаружение противоречий, которых не может быть, однако они есть.

– Довольно витиевато, – заметил интервьюер, притоптывая ботинком.

Повеяло бездной.

– А я вас предупредил. Впрочем, дальше будет проще. Вы пейте чай, – пригласил клоун и пощелкал ногтем по чайнику. Тряпочная баба уже опрокинулась навзничь и пялилась в потолок.

– Мне еще ехать, – возразил газетчик.

– Ну, как хотите. Итак, перейдем к естественному контрасту. Возьмем какой-нибудь оксюморон – надеюсь, вам знакомо это слово? Так вот: пусть будет, скажем, «идиотская сосредоточенность». Вы не сердитесь, но именно этот контраст я читаю на вашем лице. С одной стороны – имеется идиот. С другой – состояние, подразумевающее интеллект. Несочетаемая пара, однако встречается сплошь и рядом. И людям смешно. Все еще не улавливаете, к чему я клоню?

Молодой человек, играя нагловатой улыбкой, пожал плечами и обошелся без слов. Хозяин согласно кивнул и впал на некоторое время в оцепенение, собираясь с мыслями. Затем заговорил в обещанном лекционном стиле.

– Писать смешное просто. Достаточно записывать то, что видишь, правильными словами. Впрочем, я не литератор, я артист... Я подвожу вас к идее, что люди смеются над чудом. Разве не чудом оказывается природное сосуществование двух неслиянных, но нераздельных явлений, которые не связаны причинно-следственным отношением? Глубокомысленный идиот невозможен, однако он существует и вызывает смех. Юмор, собственно, и есть Бог – кому еще заведовать чудесами? Человек улавливает в невозможном божественное присутствие и отзывается смехом. В Писании об этом кое-что есть. Например, история с апостолами, на которых сошла благодать, а окружающие решили, что те напились сладкого вина. Или Давид, беспричинно певший и плясавший перед Создателем...

Репортер улыбнулся.

– В народе бытует иное мнение о смехе без причины...

– Очень мудрое мнение, – подхватил клоун. – Ибо блаженны нищие духом. Бог есть веселье, способность к которому дарована всем. Молитвоблуды, на деле расположенные к сатанизму, отвергают смех и демонически желают исключительного личного опыта и персональной сохранности.

– Мне кажется, что в мире не так уж и весело, – заметил интервьюер.

– Это иллюзия, – возразил тот. – Между прочим, так называемый черный юмор наиболее близок к божественному, потому что попирает известно что, хотя сами мы в силу несовершенства, столкнувшись с попираемым на деле, смеяться не расположены.

– Да вы философ, – усмехнулся газетчик. – Кто бы мог подумать!

– Никто, – подхватил клоун. – Подумать, я вижу, вообще никто не может, а потому и не хочет. А тем временем даже опереточный злодей подсознательно признает божественность смеха. Он хохочет не потому, что ему смешно, а потому, что по недоумию наделяет себя божественными атрибутами.

Повисло молчание. Репортер давно перестал записывать и сидел, подперев голову ладонью.

– Да, необычно это все, – признал он в итоге. – Не ожидал. Вы и сами, выходит, бог. Хорошо. Тогда ответьте: если вы настолько тонко все понимаете, то почему у вас такие идиотские шутки? Вам, получается, подавай натуральные божественные чудеса, но рукотворную кнопку на стуле вы презираете – зачем же кладете?

Клоун впервые за все интервью приосанился и вроде как оживился.

– Я ждал, когда вы спросите. Мы приближаемся к парадоксу дзена, – он воздел смешно забинтованный палец. – Мои шутки ничуть не забавны, и смеяться над ними нет никакой причины – это ли не повод для смеха? Я собираю аншлаги... И знаете, что?

– Что?

– Вы все это время сидели на торте.

Интервьюер вскочил. Глянув под себя, он открыл, что и вправду раздавил маленький кремовый торт.

Клоун стал хохотать. Глаза у него выпучились, лицо побагровело. Полетела слюна, заплескали руки, затопотали слоновьи ножищи.

Репортер устремился прочь.

– Мудак, блядь, – бормотал он на ходу.

© май 2013

Уроборос

Сила Саныч клонировал маму.

Маминой волей было сожжение; Сила Саныч не перечил, когда долгими вечерами выслушивал маму: он собирался воспользоваться пеплом в смысле животворения. Пепел развеяли над рекой, это была вторая мамина воля. Сила Саныч не отчаивался: у него были мамины ногти. Пепла он не жалел, потому что ему объяснили: ничего не получится, пепел есть пепел, а ветер – ветер, и пепел к ветру, воля вольному. Ногти остригли перед сожжением, они слегка отросли за двое суток ожидания.

Маму выращивали не то восемь, не то десять месяцев.

Потом ее выдали Силе Санычу из белой комнаты, со словами: вот, мама.

Сила Саныч осторожно взял подноготную маму в руки. Она была сорока девяти сантиметров в длину. Мама ничем не напоминала пятидесятилетнего Силу Саныча, зато была его вылитой копией во младенчестве, когда новорожденного Силу Саныча выдали маме.

Мама плакала, но больше спала.

Сила Саныч понимал, что ее придется выкармливать, но ему все казалось, что нельзя так просто, как обыкновенное дитя; мама заслуживает большего, а вот чего именно – этого он никак не мог сообразить; ему рисовались какие-то грандиозные, сложные вещи, которые будет уместно и правильно проделывать над мамой. Ведь у него имелось к ней особенное отношение, определенное к выражению.

Со временем, когда наступила пора дать прикорм, он стал кормить ее мамой.

Сила Саныч, вырастив маму, замкнул некий цикл; кольцеобразность поступка пришлась ему по душе, и он постановил множить прочие кольца, наводняя циклами окружающий мир. Кольца снились ему, как химику Кекуле, увидевшему во сне бензол. Змей, закусивший собственный хвост, снился ему тоже. Сила Саныч догадывался, что это есть символ не только вечности, но и бренности; бессмертия, данного в неустанном самопоедании.

Он брал от мамы понемножку – изо рта, из ушей; соскабливал пилочкой. Выращивал на балконе овощи, скрещенные с мамой. В лаборатории, куда он обращался в этой связи, не возражали. Овощи росли как на дрожжах, и это нисколько не удивляло Силу Саныча, ибо мама животворила по определению. Он натирал овощи на терке, варил, себе – поджаривал. Он подарил лаборатории мамину слюну, разрешив использовать ее генетику в местном животноводстве; последнее расцвело, и Сила Саныч впоследствии, когда мама достаточно подросла, чтобы питаться животным белком, с удовольствием думал, что мама осталась мамой даже в мясопродуктах.

Первым словом, которое сказала мама, было «мама».

Сила Саныч научил ее и другим словам.

Покуда она росла, он вывел папиросы с мамиными генами, и время от времени курил маму. Еще он вывел специальные бактерии, тоже с мамиными генами, и они пожирали мусор. Больше всего на свете они любили пластмассу, новый сорт, с биологической составляющей в виде маминых генов. Он вводил себе мамин бактериофаг, когда простудился мутировавшими мусорными мамабактериями. А после этого ему вырастили еще одну маму, но по частям, для пересадки на место изношенных органов и частей мамы.

Когда мама выросла, Сила Саныч открыл ей, что она мама. К тому моменту он вырастил еще десять мам, так как всегда мечтал о большой семье.

Мама отнеслась к новости с пониманием. Она дала Силе Санычу слово, что когда он умрет, она тоже вырастит Силу Саныча. Дело тем временем приобрело размах, и в их семействе пили, ели, курили, носили и принимали только маму. В космосе ее выращивали вместе

с дрожжами. Из нее гнали самогон. А на месте лаборатории мамотехнологии вырос небоскреб без вывески и за бетонным забором.

Тоскуя по Силе Санычу, когда он, как и предполагал заранее, умер, мама исполнила его волю и развеяла по ветру, пепел к пеплу и ветру. Предварительно она собрала его ногти в спичечный коробок, и в скором времени ей выдали Силу Саныча, сорок девять сантиметров в длину.

Мамы окружили его вниманием. Не прошло и года, как Сила Саныч был у каждой. Теперь в мире вообще ничего больше нет, кроме мамы и Силы Саныча.

© *ноябрь 2008*

Dress Tease

- Надо же, что-то новое. Кто мог подумать?
- Хорош тупить. Ничего нового, это уже давно...
- Я знаю эту Варвару. Год назад на трассе стояла.
- А что ты забыл на трассе, что помнишь Варвару?
- Херасе клубешник. Насосала!
- Это ты сосешь.
- Господа, прошу предъявить приглашения.
- Два места у бассейна.
- Кабинет и кальян. Места лежачие.
- Вар-ва-ра! Вар-ва-ра!..

Зал был набит до отказа. Растекался пар, плясали разноцветные музыкальные светопотоки; черные и белые смокинги медленно раздувались от абсента, мохито и текилы. Агрессивно пощелкивали бильярдные шары. Шлепались карты, клубился дым. Сигары тлели в фарфоровых зубах, сверкали монокли, в бассейне резвились нимфы, омываемые попеременно брютом и клико. Там и тут звучало сосредоточенное сопение, кокаиновые дорожки разбегались по черепам и растворялись в глазах. То и дело возникали единичные очаги рукоплесканий, кто-то свистел, а кто-то выкрикивал на разные лады: «Варвара! Варвара, сюда!»

Посреди зала высился шест. Конферансье жеманно кривлялся, подмигивал направо и налево, делал преувеличенные успокаивающие жесты. По чьей-то прихоти он был наряжен в полосатое трико дореволюционного силача. Закрученные черные усы соответствовали, набриолиненные волосы с прямым пробором – тоже.

Наконец конферансье сдался. Он уже битый час стимулировал публику, оттягивая коллективный оргазм; прелюдия угрожала запредельным торможением.

- Варвара! – лаконично объявил ведущий, когда этого никто не ждал.

Зал, на миг ошеломленный, хищно взревел.

Варваре было непонятно сколько лет. Гости заключали пари: одни говорили, что ей двадцать четыре, другие – что пятьдесят. Некто, вменяемый не вполне, божился и клялся, что ей всего семь и поставил на кон целое состояние.

Варвара выбежала обнаженной. Стати ее в равной мере притягивали и отталкивали. Все в ней выглядело избыточно совершенным; прекрасно зная об этом изъяне, танцовщица всячески компенсировала его отвратительными позами. Широко улыбаясь, она ходила вокруг шеста гусиным шагом; потом выпрямлялась и нагибалась поочередно по розе ветров, доводя откровенность зрелища до нестерпимого предела. Зал наполнился смехом и свистом, собравшиеся кричали:

- Хорош, Варвара! Сиськи уברי! Жопу прикрой!

Варвара, кокетливо улыбаясь, прижалась к шесту, обняла его, вильнула кормой. Предметы ее туалета были заранее разбросаны в беспорядке. Вытянув ногу, она будто невзначай подцепила стринги – полоску триколора. Не отрываясь от шеста, она содрогнулась в неуправляемой судороге, и стринги, как почудилось публике, сами собой вползли на литые бедра.

Зал заревел. Какой-то купчик полез на площадку и запустил под полоску багровую лапищу. Он вытащил стодолларовую купюру и победоносно взмахнул ею под одобрительные аплодисменты. Варвара застенчиво ежилась, прикрывала глаза; ступня ее тем временем подкрадывалась к трехцветному бюстгальтеру – такому же микроскопическому, так же раскрашенному в государственные цвета. Купчика оттащили; желающих было очень много. Под музыкальное крещендо Варвара дернула ногой и выполнила неуправляемое движение руками. Бюстгальтер сел на место, а пара активных зрителей немедленно припала к нему и отлепилась

с купюрами в двести евро. Варвара прошлась по площадке, и нескольким счастливым удалось добыть из нее еще сколько-то денег.

Речитатив сменился. Теперь вместо «Варвары» кричали:

– Рос-си-я! Рос-си-я!

Гремели аплодисменты. Не прекращая танца, Варвара одевалась: трехцветная рубашка, трехцветный сарафан, трехцветный кокошник. Она взмотнула головой, и грива ее волшебным образом свилась в толстую косу. Среди публики наступили первые обмороки. Самые стойкие наседали, выхватывая из складок варваринного наряда все новые суммы, одна крупнее другой. Некто исхитрился выдернуть целую пачку, и Варвара, выказывая ему особое расположение, ненадолго сошла в зал и присела к победителю на колени.

– Варвара, вперед!

– Россия!

– Шу-бу! Шу-бу!

Словно сдаваясь, заливаясь румянцем Варвара стыдливым движением набросила себе на плечи колоссальную шубу. Песец был выкрашен в те же обязательные цвета. По залу пронесся стон, как если бы табун лошадей устремился на волю. Варвара махнула рукавом – и возникло озеро. Она махнула другим – и поплыли лебеди.

Зрители повскакивали с мест. Взрывались фейерверки, кавказские гости без устали палили в потолок. Апофеоз наступил, когда из соседнего зала, где развивалось аналогичное представление для дам, явился дюжий казак. Он там тоже только что оделся. В руках он держал устрашающий плакат: «Долой дрестиз! Защитим наших детей»

Под шквал рукоплесканий он обнял Варвару, и оба начали отплясывать канкан, высоко поднимая ноги.

© октябрь 2012

Господин очернитель

С женщинами Кальмару повезло: он стал импотентом сразу, после первого совокупления.

Ладный и статный лицом и фигурой, он взял себе обычай плевать чернильной жижей. Кальмар и не брал бы такого обычая, но конь был дареный. Коня подарили в день совершеннолетия. Фамилия дарительницы была Судьба. Имени она не назвала, потому что не терпела панибратства.

Явились гости, хлопнули пробки. За столом царило веселье, местами успевшее перебродить в окаянное лихо. Горели огни.

На пятом тосте встал отец. Держа в руке седой от пены бокал, он попросил тишины, и стало ясно, что сейчас состоится дарственный акт, который отец откладывал до удобного, по его разумению, момента.

Подарок, судя по торжественным приготовлениям, обещал быть богатым.

И через две минуты Кальмар открыл, что в нем родилась способность отзываться чернильным плевком на добро. Это выяснилось, когда отец, обращаясь к нему по прежнему еще имени, вручил будущему Кальмару часы. Благодарный Кальмар, непроизвольно провернувшись на каблуке, обдал родителя едучей чернилой.

Выброс чернилы в такой неподходящий момент многие приписали случайному стечению обстоятельств. Впоследствии, годы спустя, стало ясно, что ничего случайного в этом не было. Состоялась закономерность, которая сама, разумеется, тоже могла показаться случайной, но так вольно думать лишь ленивым мечтателям, обреченным на пожизненный оптимизм.

А Кальмар, с того самого дня начиная, постепенно пришел к тому, что исторгал из себя черную жижу всякий раз, когда ему удавалось чего-то добиться, заполучить желаемое, осуществить мечту, найти правду.

Поэтому и с первой женщиной Кальмар, оказавшийся на высоте во всех интимных смыслах, рассчитался мгновенно, хотя она была хороша душой и вовсе не требовала особого расчета – денег там или подарков, ни-ни, сохрани Господь, всего только доброго отношения, да нежного слова: чего еще бабе нужно?

– Сволочь! Сволочь! Сволочь! – голосила женщина, прыгая в черной луже.

Тот, к тому времени успевший получить от людей несмываемое прозвище, пятился к двери, не пытаясь оправдаться. Кальмар уже знал, что, добившись своего, он обязательно выпустит вонючее чернильное облако. Каких-то пять минут назад в нем теплилась надежда на то, что это правило не будет распространяться на женщин, которые, в конце концов, тоже чего-то добивались и что-то получали.

И эта надежда не оправдалась.

Никто не мог понять, что с ним происходит. Доктор выписал ему замысловатый рецепт на лекарство, которое помогло, еще не будучи принятым: заранее благодарный Кальмар выпустил облако глубокой признательности, в котором скрылся огорошенный доктор.

Никто даже не знал, не успевал разглядеть, откуда появляется это чертово облако. Естественные догадки оказывались несостоятельными. Кальмар шел на многие и обременительные ухищрения; он кутался в зипуны и шарфы, надевал валенки, прятал лицо и как-то однажды застегнулся в памперс – все было без толку. Ему оставалось лишь мечтать о переезде в какую-нибудь правовую страну, где если кого и придется о чем-то просить, то много реже, а так все будет удаваться без просьб и ходатайств, во исполнение буквы закона. Где все подсчитано, где разного рода услуги оказываются не в одолжение, но в рутинном порядке, без тени добросердечия.

Но переезд виделся невозможной затеей.

Кальмару было некуда, не к кому и не на что ехать. Он работал в научном учреждении и был вынужден принаравливать к благодарной жизни в государстве, где кумовство и разного рода покровительство процветали с седой старины.

Кальмар надеялся, что как-нибудь справится, ибо люди, как он считал, повсеместно предпочитают брать.

И с удивлением открыл, что эти самые люди, куда не ткнишь, готовы удружить ближнему гораздо чаще, чем считают озлобленные мизантропы, клеветущие на человечество. Кальмара, правда, это повсеместное участие, как вынужденное, так и добровольное, не спасало. Напротив: широкая сеть формальных и неформальных благодеяний губила его. Человек, говоривший ему «будьте здоровы» после чиха, впоследствии горько раскисался. Когда Кальмар сломал себе ногу и его заключили в гипс, он, ощутив благодарность к медикам, вновь опозорился, и его, в отместку, так и оставили лежать неумытым, под высыхающей коркой зловонных чернил. Соседи по палате, которых это соседство здорово раздражало, разрисовали ему гипс похабными рисунками, написали оскорбительные слова. Они глумились безбоязненно: Кальмар, как ни старался себя заставить, не испытывал благодарности за надругательство – а значит, не мог и обдать ликовавших недоброжелателей вразумляющей струей. Гнев же Кальмара был безопасен и смешон.

От него шарахались. Он получал отказ, о чем бы ни попросил.

Когда ему, как родному и еще доступному для вразумления, любезно подставляли в ответ на удар щеку и думали, что правила приличия не позволят нанести новый, то Кальмар и не бил никого, а снова плевал, попирая законы людского сожительства.

– Сколько ему ни сделай – все такой же гад! – озлились все.

И он превратился в вечного просителя, занудного и унылого. Он скулил, унижался и порывался падать ниц по смешным пустякам. Никто, за исключением редких несведущих людей, не хотел его ублажать.

Кальмар перестал справлять дни рождения, потому что боялся благодарить за подарки. Даже когда он держал рот на замке, благодарность была из него ключом. Приходя в магазин, Кальмар старался дать денег без сдачи, а если все-таки выходила сдача, не брал ее и быстро выкатывался вон. Часто случалось, что он остерегался забрать и саму покупку.

Он больше не сдавал посуду.

Он зарекся спрашивать у прохожих, который час.

Сберкасса завораживала нехорошим гипнозом, в ней предчувствовалось Чистилище.

Там было много старушечек – их всюду хватает; они все трогательные черепашечки в очках с мощными линзами; у них крапчатые лапки и жалобные глаза; они ничего не видят, ничего не знают и не понимают, все забывают и пишут не там, где надо; рассыпают рублики и копеечки, которые после не выцарапать из пластмассовой скользкой ямки; они вздыхают и полнятся смирением; им хочется в поликлинику, собес и церкву, чтобы попеть там всласть и признаться в тайном чревоугодии булочкой.

И внутренность Кальмара наполнялась сострадательным умилением, а его правая рука хотела всучить им денежку, накапать корвалолу, выписать квитанцию, да подчеркнуть в телепрограммке «Санту-Барбару». Но левая рука, не ведая настроений правой, судорожно рылась в кармане, надеясь, что где-то там, за дырявой подкладкой, затерялась граната лимонка.

Не находя гранаты, Кальмар вспоминал, что сам он, через минуту-другую, совершит нечто гораздо худшее, не сравнимое с пожилой суетой.

И он выходил, не сделав дела, но увы! всего не предусмотреть. Например, единожды в месяц ноги сами, исправно и помимо воли, доставляли Кальмара в учреждения, которые снабжали его газом, водой и светом. Он отмечался там привычной благодарностью за коммунальную услугу, за что не раз бывал бит охранниками. Кальмар отзывался даже на телевизионные поздравления с крупными праздниками, но только если его поздравляли частные

лица, то есть более или менее искренние люди, которых выдернули из какой-нибудь радостной толпы. Официальным же поздравителям, облеченным властью, удавалось, как и всегда, остаться сухими и не запачкаться.

«Спасибо, сынок!» – сказала Кальмару немолодая женщина с пустыми помойными ведрами, которую он машинально придержал за локоть на скользкой мостовой. Ему пришлось не ограничиваться одним добрым делом и сделать новое: наполнить ведра чернилами.

Он постоянно портил людям настроение.

Однажды покупал арбуз.

– Вам повезло, вам девочка досталась, – сказала ему подавальщица с улыбкой, но громко и с привизгом. В ее представлении существовали арбузы-мальчики и арбузы-девочки.

Кальмар испортил все – арбузы, весы, прилавок. Он сорвал плащ, бросился подтирать. Его пожалели, посчитав за больного, и даже хотели утешить дыней, из-за которой все старания Кальмара пошли насмарку.

Был случай, когда он, отчаявшись, надумал приобрести репутацию хама. Набравшись смелости, Кальмар объявился в продуктовом магазине, где начал с порога кричать:

– Что тут у вас за дерьмо поналожено! Я хочу есть! Сервис, понимаете! Страна велика!

Крича, он плевался, но только слюной, капли которой своим натуральным видом вселяли в Кальмара надежду на благополучный исход.

Задуманное действие хамства удалось: ему швырнули батон и, на свое счастье, в негодовании отвернулись. Поэтому лицо не пострадало. Как только товар переместился в авоську Кальмара, из покупателя брызнуло. Он замарал не только прилавок и продавщицу, он ухитрился отдельно отметить даже чек, на котором синела надпись «Благодарим за покупку». Сам факт услуги, осуществившейся в швырянии батона, перевесил ее эмоциональную окраску; Кальмар, чуя скорую голодную смерть, поспешил скрыться.

С кассами у него вообще выходили сплошные конфузы. В кассе на службе, где Кальмар получал жалованье, для него завели специальную тряпку и ведро, так как он, стоило ему расписаться в ведомости, выдавал залп. Кассирша всякий раз шарахалась, хотя и была отгорожена от Кальмара и других, потенциально опасных личностей, пластиковой перегородкой. Ему же казалось, что недалек тот день, когда он, хотя бы и без печати зверя, и даже без начертания, не сможет уже больше ни покупать, ни продавать.

Кальмар устроился маляром, однако заявок было мало. Охотников до чернильного цвета можно было пересчитать по пальцам. К тому же для выполнения заявки приходилось удовлетворить какое-нибудь желание работника – ерунда, если вдуматься: поцеловать в щеку, дать конфету, но многих солидных людей, в том числе новоявленных бизнесменов, подобная форма организации труда раздражала.

Малярничал он недолго.

Наступил день, когда его побили особенно крепко, и Кальмар счел за лучшее выйти в отставку.

Он попытался выяснить, не принимают ли где чернильный продукт.

«Сдают же кровь, – рассуждал Кальмар. – Сдают даже...»

И он поеживался, так как вынужденное целомудрие породило в нем нездоровую стыдливость, не позволявшую даже в мыслях именовать интимные субстанции и предметы. «В общем, сдают всё», – успокаивал он себя, целенаправленно забывая о том, что все-таки не всё. В сладких мечтаниях его предприятие уже увенчивалось успехом. Ему мерещились целые фабрики, занятые переработкой диковинного сыря. Он видел себя обладателем льгот и выгодных документов, который вхож в сообщество чопорных Кавалеров, носителей и держателей почетных Орденов. Прозревая будущее, он уже вел себя, как если бы дело свершилось, и он уже ни за что и никому не был признателен и ни за что не платил – наоборот, все платили ему, причем по почте, с максимальной обезличенностью; товары доставляли на дом, а если услуги было

не избежать, облачались в противочумные костюмы, в которых люди уже не люди, а жуткие чудища, каких и обмарать-то не жалко.

Но с донорского пункта Кальмара прогнали.

Хотя возможно, что он просто пристроился не в ту очередь.

Его прогнали даже из канцелярского магазина, где он порывался заполнять авторучки.

И положение Кальмара сделалось совсем никудышным.

От быстрой голодной смерти его спасло не чье-то счастливое наитие, но, скорее, эволюция, которая есть естественный ход событий. Спасение, хотя и временное, да и бывшее хуже гибели, явилось маленькими шажками, по чуть-чуть; метод противодействия Кальмару, родившейся в чьей-то сообразительной голове, распространялся поначалу медленно, пока молва о нем не достигла критической разговорной массы. Тогда обнаружилось, что все вдруг давно уже знают, как вести себя с Кальмаром, и он, если захочет, может вернуться в ряды своих сограждан, объединенных временем и пространством.

Однажды некто, имевший с ним дело, додумался уравнивать благодеяние пакостью. Причем пакость полагалось делать сразу после, а еще лучше – в параллели с благодеянием: отравить ногу, оскорбить личность, поразить в правах.

Пакости оказались действенным средством. Они помогали, хотя и не всегда. Кальмар, напарываясь на кулаки, убеждался в благотворности страдания. Самым трудным было соизмерить пользу, проистекавшую из доброго дела, с пользой грубого, но вынужденного окорота. Если первая превосходила вторую, то пакость не спасала, и благодетель шел мыться. Но если вторая превосходила первую, то все получалось удачно. Вывод был очевиден, и все Кальмарово окружение – вольное и невольное, близкое и далекое – стало вести себя в разумном соответствии с этим выводом.

На Кальмара посыпались неприятности.

Он вскоре настолько привык к ним, что одним выражением своего лица нарывался на новые и новые притеснения. В людях, в ту или иную секунду окружавших Кальмара, просыпалась животная интуиция. Даже вполне порядочные норовили толкнуть его, пихнуть, обсчитать, профилактически обозвать.

Со всех сторон он слышал то змеиное, то львиное «Заткнись!», причем говорившие зачастую не подозревали, насколько они точны и буквальны в своем оскорбительном, как им думалось, требовании.

Его били и грабили среди бела дня; ему отказывали в любой ерунде, им помыкали и командовали. Казалось, что Кальмар излучает нечто порочное – может быть, инфракрасное или ультрафиолетовое, но не только. Даже собаки и кошки держались с ним начеку.

Что до людей, познавших Кальмара, то эти действовали целенаправленно. Таких было много: окрестные продавцы и кассиры, дворники, вагоновожатые, почтальоны и врачи. Они выписывали Кальмару, допустим, справку, и тут же, не дожидаясь уже известного им ответного хода, плевали ему в лицо, ударяли по шее, ругали матерными словами. Кальмар воспринимал это с обреченным смирением. Он мог бы отправиться в другую поликлинику, сменить сберкассу, да и вообще переехать. Но он предпочитал иметь дело с уже привычными, знакомыми людьми. С ними он, худо-бедно, знал, чего ждать.

А то он, было дело, вызвал на дом неизвестных мастеров-слесарей, и те устроили ему кромешный тип-топ. Вампирил даже Быт. У Кальмара болело горло всякий раз, когда он включал пылесос – может, дуло? Бывало, что в сосисочном настроении он шшупал в пакете – много! А оказывалось, что там – огурцы.

Кутаясь в воротник и прячась от подозрительных взглядов, Кальмар бродил по улицам. Теперь он фонтанировал редко, и воздержание прескверно сказывалось на его здоровье. По-видимому, чернила где-то накапливались в нем, но выхода не получали. Они вели себя

на манер фрейдовского Ид, обузданного строгим общественным Суперэго. В этих тисках визжало и дергалось «я» размером с хлебную крошку.

В мстительных грезах ему хотелось быть то Туркмен-Баши, то Хозяином Льда.

Очнувшись, он убеждался в том, что прожитая жизнь напоминает петли кишок, которые вывалились из распоротого, но поначалу плотно закупоренного животика, тугого и аккуратного; эти петли ложатся, являя миру от века задуманное, но временно существовавшее в потенциале, без реализации. И вот что, оказывается, находилось внутри, вот что было предрешено. Петли, лишённые среды обитания, обращаются в прах. Такая же судьба постигает мысли, мечты, сочинения – все, короче, что расплзается, развертывается, покидая первоначальный бутон.

Чернила переполняли Кальмара. Они бродили в нем, клокотали; они рвались наружу. Но выход был запрещен. Враждебный мир не давал ему повода к изъятию благодарности.

Поэтому наступил момент, когда чернила обратились против самого Кальмара.

Это произошло не без его сознательного участия. Кальмар давно подумывал оказать какую-нибудь услугу себе самому, и чем серьезнее эта услуга, тем будет лучше. Он надеялся захлебнуться. Но останавливал себя, понимая, что любую услугу такое хитро задуманное самоубийство сведет к нулю, перевесив благодеяние. Именно поэтому ему до сих пор удавалось есть, спать и вообще поддерживать в себе жизнь. Он рад был креститься, ибо такая услуга себе не шла ни в какое сравнение со всеми прочими. Но здесь его опередили родители. Благодаря чему он, лежа на смертном одре, воспользовался возможностью побеседовать с представителем духовенства.

А на одре Кальмар оказался по счастливому стечению обстоятельств.

Однажды утром он купил лотерейный билет. И ему – Кальмару, но потом и билету – сразу сделалось плохо.

Кальмар, оплеванной хамливой киоскершей, как раз отходил от окошка раздачи: билет был зажат в кулак. Внезапно закружилась голова, чернила хлынули в мозг. Билет выпал и помчался, гонимый ветром.

Кальмар моментально понял, что билет был выигрышный.

Нетвердо ступая, он доплелся до квартиры; вошел. «Много выиграл, – подумал Кальмар, потому что ему было очень плохо. – Наверное, холодильник».

Он посмотрел в зимнее окно: на востоке всходили галлюцинации.

Тогда Кальмар снял телефонную трубку. Телефон был единственным средством безнаказанно побеседовать с миром. По телефону бранились и хамили редко, разве только по введшейся уже привычке. Многие знакомые были даже рады поговорить с Кальмаром, но – сохраняя дистанцию, не с глазу на глаз. Потому что в сердцах свои люди добры. Кальмар пожаловался этим людям на сильное недомогание. В трубке встревожились, предложили вызвать доктора, но Кальмар не желал видеть никаких докторов.

Тогда прислали попа.

Прислали, потому что это стало модно, а Кальмар успел выронить трубку и потерять сознание.

Его привели в сознание, чтобы он успел пообщаться с попом.

Батюшка, обеспокоенный состоянием Кальмара, спешил.

Он отпустил Кальмару грехи.

Кальмар, уже почти отошедший, успел выразить батюшке свою признательность.

Тот, мокрый, отскочил, заслоняясь крестом.

Это действие было лишним: Блудный сын оторвался от преследователей и быстро удалялся домой, в зеленую толщу забытых вод.

Вечный двигатель

*...Он ходит – брешет, ест – брешет...
...Возьмем для примера хоть одно такое выражение:
согнуть в бараний рог.
Что нужно сделать, чтобы выполнить эту угрозу?
Нужно перегнуть человека почти вчетверо, и притом так,
чтоб головой он упирался в живот,
и чтоб потом ноги через голову перекинулись бы на спину...
...Но, скажут мне, как же вы не понимаете,
что выражение «в бараний рог согнуть» есть выражение
фигуральное?
Знаю я это, милостивые государи!
знаю, что это даже просто брех.*

М. Е. Салтыков-Щедрин «Господа Ташкентцы»

Керю засекли в общественном привокзальном туалете, куда он пришел за тем же, за чем приходят обычные люди. Справив нужду, Керя возвысился интеллектом до анализа элементарных ощущений, после чего его действия стали несколько отличаться от поступков заурядных смертных. Дело в том, что сверхчеловеческие настроения, успешно перепрыгнув через стадию человеческих, без всякого на то основания определяли Керино поведение, сколько он себя помнил. Нет, он ни о чем таком даже не задумывался, так как думать не любил вообще, он просто сразу вел себя образом достойным, по его смутным догадкам, сверхличности. Итак, сперва он ознакомился с типичными образчиками сортирного граффити. Лейтмотивом был отчаянный, многократно повторенный призыв: «Я голубой. Приходи сюда в 22.00 10 августа». В некоторых вариантах это сообщение расцветало пышным цветом, украшенное многими важными подробностями с целью показать товар лицом, в других – сокращалось до самих по себе дат и часов, но суть не менялась. Остальные надписи сводились к напоминанию о существовании в природе половых органов.

Крохотные кнопки-наушники ласкали Керин слух металлической музыкой. Керя достал авторучку, приоткрыл рот и написал на стенке: «Я отшошаю все, что двигается, и выпью все, что жижей асфальту». Отступив на шаг, он убедился, что великое видится на расстоянии. С этой мыслью Керя, конечно, не был знаком, ему просто очень понравилось написанное. Тут некто сзади потрепал его по плечу, Керя быстро развернулся и увидел здорового мужика, одетого в бесформенную спецовку. Судя по выражению лица, мужик уже на протяжении какого-то времени пытался докричаться до Кери, но тот, замороженный лязгом листового железа, не расслышал.

– Что это ты здесь написал? – строго спросил озадаченный мужик.

– Чего надо?– Керя хорохорился, но, будучи трусом, с испугу позабыл избавиться от наушников.

Мужик нетерпеливо махнул рукой, схватил стальную тонкую полосочку – вместе с пучком волос, рванул.

– Что ты нацарапал на стенке, командир?

– А че надо-то?– крикнул Керя, чувствуя, что запросто может огрести люлей.

– Да ничего не надо, – мужик вдруг как-то успокоился. – Я тебя про надпись спросил.

Керя не знал, как поступить. С одной стороны, спокойствие мужика толкало его на законный, привычный акт агрессии. С другой стороны, бугай был тот еще. «Пидорас, – внезапно догадался Керя. – Клинья подбивает».

– Все пишут – мне и захотелось, – вяло объяснил Керя, ища возможности слинять куда подальше.

– Пиши, сколько влезет, – возразил мужик. – Я тебя не о том спрашиваю. Меня сам текст удивил.

– Чего в нем такого-то, в тексте, – Керя в искреннем непонимании пожал плечами.

– Ну, вот ты пишешь, что отсношаешь все, что двигается. Мне и непонятно. Я вот двигаюсь, например. И что?

«Точно пидорас, – ужаснулся Керя. – Пропал я, в натуре – сейчас он мне оформит».

– Ничего, – ответил он мужику дрогнувшим голосом.

– Как так – ничего? – мужик широко распахнул глаза. – На хрена ж тогда писать?

– Все пишут, я тоже написал, – с аргументацией у Кери было не слишком хорошо.

– Но ты ж другое написал, не то, что все, – напомнил мужик.

– Какая разница-то? – Керя бессмысленно топтался на месте, не находя выхода из создавшегося положения.

– Разница серьезная, – мужик погрозил ему пальцем. – Говорю ж тебе – я двигаюсь.

– Я не про вас, – Керя попробовал в меру способностей защититься.

– А почему я должен тебе верить? – удивился тот. – Ты же сам написал: «все, что двигается». Между прочим, двигается еще много чего. Двигаются люди, собаки, лошади, машины, поезда. Самолеты, ракеты, тектонические пласты. Растения, реки и воздушные массы тоже двигаются. Двигается вся планета целиком, и даже сама Вселенная не стоит на месте. Как же быть?

Если бы Кере было известно значение слова «демагог», то именно так он, без сомнения, назвал бы опасного собеседника. Но ему не пришлось в свое время обогатить свой словарный запас этим словом. Поэтому Керя наливался злостью и все больше убеждался в том, что здоровяк имеет на него виды и в настоящий момент плетет разную чушь, усыпляя бдительность и заговаривая зубы.

– Ты хоть знаешь, что мысль как таковая материальна? – мужик вздохнул. – Не понимаешь, конечно. Ну, представь себе, что она такая же, как колбаса, скажем, или кастрюля с супом. Все равно непонятно?

– Че ты гонишь-то, – буркнул Керя, глядя в пол.

– Может, пословицы тебе напомнить? Слово не воробей. Знаешь такую? Или вот: что написано пером – не вырубишь топором. Думаешь, народ – сплошные дураки?

– Народ-то причем? – не выдержал Керя. – Какого хрена ты ко мне пристал?

– Действительно, – вдруг опомнился мужик. – Чего ради, спрашивается? Ну, стало быть – точно не про меня?

– Сказал же, – кивнул Керя.

– Ну, слава Богу, – мучитель вдумчиво перекрестился. – И на том спасибо. Так что – ты сейчас, небось, пойдешь куда-нибудь?

Керя что-то невнятно пробормотал.

– А я ведь не простой мужик, – заявил неожиданно собеседник. Керя молчал, не зная, что на это сказать. – Впрочем, это не твоего ума дело. Я лишь только хочу тебя предупредить, что тебе не повезло.

– Как это – не повезло? – осведомился Керя подозрительно.

– Никак. Не повезло, и все, – отрезал мужик. – Ну, иди куда хотел. Задерживать не буду.

Не говоря ни слова, Керя скользнул мимо него бочком и, тяжело задышав, выпрыгнул на свободу. Он не собирался убежать, но против своей воли побежал, не разбирая дороги. Только через несколько минут он смог собраться с силами и оглянуться: никто его не преследовал. Керя перешел на быстрый шаг. Наушники болтались на шее, и что-то в них настой-

чиво, безумно пищало. Керя, не останавливаясь, сорвал их, сунул как попало в карман и начал искать какую-нибудь лавочку, где можно посидеть и собраться с мыслями. Как раз последнего делать не стоило: когда лавочка, наконец, была обнаружена и Керя сел на нее, прислушиваясь к боли от вырванных волос, явились мысли, и мысли странные, щедро окрашенные необычными страхами.

Самодовольный голубь спланировал на мелкий гравий дорожки прямо перед Керей. Он отряхнулся, заворковал и начал прохаживаться туда и обратно, делая вид, будто занят поисками съестного. Керя прикипел к месту, все возможные качества и характеристики голубя затмились в его сознании единственным фактом: глупая птица двигалась. Он чувствовал, что в настоящий момент движение как таковое является для него самой важной на свете вещью. Голубь притворялся, это было ясно и дураку. Чего он вдруг, ни с того, ни с сего, надумал ворковать? Поблизости не было никакой живности, за исключением Кери. Значит, это ради Кери распушилось голубиное жабо, тускло сверкающее бензиновыми красками?

Керя вскочил на ноги, и перепуганный голубь моментально взвился в небо – утешение сомнительное, ибо Керя ощутил в себе способность слышать непрекращающуюся музыку жизни, кипевшей в траве, зарослях кустарника, воздухе. Под тонким слоем земли с мягким шуршанием скользили влажные кольчатые черви с красноватой кожей. В лучах заходящего солнца роилась недолговечная мошкара, почти до невесомости легкая, охочая в последние часы своей жизни до всевозможных плотских утех. В листьях прятались пухлые воробьи, чирикавшие застенчиво и невинно. Керя вытер пот со лба и поспешил куда подальше от этого непристойного ужаса. «Сука, он меня загипнотизировал, – билось у него в голове. – Сучара, сучара, он меня заколдовал».

Вскоре начался город; первые же явления цивилизации едва не лишили Керю жизни: трамвай, кокетливо вильнув кормой, чуть было не швырнул его к устам второго, встречного, что из последних сил спешил на свидание. Керя, не помня себя, бегом пересек проезжую часть и втиснулся в старый автобус, где его сдавили жарким и душным кольцом. Пассажиры пробирались к выходу, шарили в карманах в поисках мелочи, чесались и поудобнее устраивались, однако для Кери вся их деятельность сводилась к недвусмысленному механическому трению о разные части его тела. Готовый расплакаться, он испытал невольное возбуждение, которое, увы, не сопровождалось обычным в таких случаях разгулом фантазии. Керя понял, что краснеет. Такого за ним не водилось; сквозь зубы он выматерился и стал отчаянно проталкиваться к дверям. Он проехал всего лишь одну остановку, но и ее оказалось достаточно, чтобы дать себе слово никогда впредь не ездить в общественном транспорте.

Стараясь не смотреть на выхлопные трубы автомобилей, порождавшие нежелательные ассоциации, Керя отправился домой пешком. Он умышленно выбирал самые темные, самые безлюдные переулки, с облегченным сердцем пересекал заболоченные пустыри, хотя даже в этих обойденных жизнью местах нет-нет, да находилось что-нибудь, способное передвигаться. На одном из пустырей Керя стал свидетелем собачьей свадьбы; при виде незнакомца партнеры как по команде прекратили свое занятие и выжидающе уставились на него. Стиснув кулаки, Керя степенно прошагал мимо них, помня, что от собак ни в коем случае нельзя убежать. Когда он смог вздохнуть спокойно, откуда-то вырулил маленький трактор с огромным ковшом и заинтересованно протарахтел в направлении Кериного дома. Керя вновь разволновался, и не зря: на подступах к дому он увидел, что распутная машина остановилась прямо напротив его подъезда и многозначительно почихивает дымком. Подобно молнии ворвавшись в двери, он прыгнул в лифт и впился в кнопку неверным пальцем. Двери сомкнулись, лифт начал подъем. То, что лифт способен двигаться, дошло до Кери только когда лифт остановился между этажами. С оглушительным хлопком лопнула лампочка, в кабине стало темно. «О черт, – забормотал Керя. – Ты, придурок, какого хрена ты встал, давай поезжай.» Лифт не шевелился. Он определенно ждал каких-то Кериных действий, и застрявший в изнеможе-

нии опустился на пол, догадавшись. «Крыша поехала», – подумал Керя безнадежно и расстегнул штаны. Поскольку вовлечь саму кабину в сексуальные игры не было никакой возможности, Керя с великим трудом сосредоточился на каком-то абстрактном, слабо эротичном объекте и приступил к заведомо бесплодному занятию. Дело не клеилось, Керя взмок от напряжения, вызванный образ оказался нестойким и постоянно заменялся какими-то прессами, ходовыми частями непонятных механизмов, парящими птицами и падающими звездами. В конце концов попытка закончилась, и лифт, вздохнув с неподдельным человеческим удовлетворением, доставил Керю на нужный этаж. В пути пассажиру стало плохо: он представил, что с ним будет, если все прочие предметы, умеющие перемещаться, потребуют от него внимания в такой же форме.

Очувтившись в квартире, Керя перво-наперво наглухо запер дверь, зашторил окна и принялся бродить в квартире, разыскивая признаки малейшей двигательной активности. Вспомнив об электронах из школьного курса физики, он отключил холодильник и погасил свет. С замиранием сердца щелкнул кнопкой телевизора и в панике отшатнулся: украинский фольклорный ансамбль лихо отплясывал национальный танец, усатый хохол в шароварах пошел вприсядку столь откровенно, что Керя обесточил прибор и повалился на кушетку. С улицы просачивался многообещающий шум троллейбусов и легковых автомобилей, в поднебесье застрекотал вертолет. «Этот-то откуда взялся, – Керя стиснул голову в ладонях. – Отродясь тут не летал». Скрипнул потолок: соседу сверху, похоже, не спалось, и он нарочно мерил свою комнату шагами – взад-вперед, взад-вперед. За стенкой отвернули кран, и полилась вода – сперва, как точно понял Керя, очень холодная, потом добавили горячей, и сделалась тепленькая, приятная, и так бы ей литься и литься всю жизнь, покуда не иссякнут истомившиеся резервуары водохранилища... Керя заскрипел зубами, нашел снотворные таблетки и проглотил одну за другой целых три штуки. Круглые колесики, сталкиваясь и отскакивая друг от дружки, покатились к желудку, порождая нестерпимое желание проникнуть в собственный нагретый, протяженный пищевод и там догнать шаловливые кругляшки, а после их... а после... с ними... Керя сидел, раскачиваясь, и глядел в темноту слепыми глазами, стараясь пореже моргать: короткое, упругое движение век деликатно напоминало, что оно, какое-никакое, но тоже движение, и склонно заявить свои права на должное отношение... в какой-то раз моргнув, когда уже не оставалось мочи терпеть, веки не разомкнулись, и Керя провалился в сон.

Наступившее утро ничем не смогло его утешить. Керя метался по квартире, будто в бреду. Он подумывал вызвать врача, но при одной только мысли об отверстиях в телефонном диске к горлу подступала тошнота. Решение тем временем напрашивалось само собой, и Керя, когда оно добралось наконец до самых тонких областей его запущенной коры, вылетел из дома, в чем был. Теперь ему стало поспокойнее, благо обозначилась какая-то цель. Он всей душой надеялся, что едва он только сотрет, соскоблит, зачирикает злополучную надпись, все встанет на свои места.

Керя несся столь стремительно, что его собственное высокоскоростное движение предохраняло его от влияния движений посторонних. Добежав, он распахнул державшуюся на честном слове дверь и бросился к исписанной стене. Надпись никуда не исчезла, и Керя, дрожа от нетерпения, уже полез за ручкой, когда взгляд его наткнулся на слова, которых прошлым вечером не было. После письменного Кериного обещания кто-то дописал: «Хорошо, приду. Вечный Двигатель». «Выебывается, падла», – подумал Керя, имея в виду вчерашнего фокусника. Он стал остервенело закрашивать слова: сначала – свои, затем – ответ нравоучительного урода. Получилось отменно: очень скоро сам черт не разобрал бы ни буквы в образовавшейся громадной кляксе. И не заставил себя ждать результат: внутри, на уровне солнечного сплетения, как будто немножечко отпустило, как будто стало малость полегче – пока не совсем еще легко, но лучше, право, лучше. Керя осторожно шагнул за порог и чуть не столкнулся с невысоким пожилым человеком – сильно сутулым, в очках, шляпе и с длинной рыжей бородой.

В правой руке у него был такой же пожилой саквояж, в левой – старомодный черный зонт. Керя, ничего не говоря, пошел обратно в направлении города, старик увязался следом.

– К городу – мы ведь правильно идем, не так ли? – осведомился он, не делая вступлений.

– Ага, вон туда, – Керя, прислушиваясь к себе, ткнул пальцем в отдаленные жилые массивы.

– Прекрасно, – молвил старик скучающим голосом. – Есть время поговорить. Хотя, если вдуматься, то чего-чего, а времени всегда предостаточно.

– О чем еще говорить? – Керю передернуло. После вчерашнего он больше ни в каких разговорах участвовать не собирался.

– Таки странно, – отозвался спутник, совершенно между тем не удивляясь. – Встреча назначена, а говорить, оказывается, не о чем.

– Че ты лепишь, дед? – повысил голос Керя. – Я тебе стрелок не забивал.

– Я тоже был в свое время неосторожен, – поделился с ним дед, не обращая внимания на грубость. – Давным-давно, когда я сидел на пороге родного дома, мимо меня провели человека в терновом венке и с тяжелым, очень тяжелым крестом на плечах. Он попросил меня о чем-то – не помню сейчас, о чем, а я сказал ему в ответ: «Иди, иди». Тогда он двинулся дальше, а через несколько шагов обернулся и ответил: «И ты иди». С тех пор, в наказание за беспечно, бездумно произнесенную фразу мне нет покоя, и я иду.

– И этот мозги сношает, – бросил Керя куда-то в сторону.

– Да нет, молодой человек, – не согласился с ним старик. – Это только так кажется. Не вы ли не так давно ломали голову, кто бы это мог быть такой – Вечный Двигатель?

Керя ошарашенно уставился на незнакомца.

– Вечный Двигатель – это, в некотором смысле, лично я, – признался тот. – Я же – Вечный Жид. Может, слышали?

«Опять», – Керя мысленно охнул.

– Он же – «надейся-на-Бога», Эспера-Диос, он же – «ударивший Бога», Бутадеус, он же – Картафил, он же – Агасфер. Тогда мне было тридцать лет, и через каждую сотню лет я снова молодею и возвращаюсь к исходному возрасту. И продолжаю идти.

Керя вообще перестал понимать что бы то ни было и безвольно вышагивал, стараясь попадать в ногу со стариком.

– Так вот и тебе сказали, что тебе не повезло, – бубнил тот, не сбиваясь с ритма.

– А кто он такой? – вырвался вопрос у Керя, сильно мучившегося воспоминаниями о гипнотическом мужике.

– Понятия не имею, – пожал плечами старик. – Кто-то из тех, кто оказался там, где ему нужно и когда ему нужно. К чему тебе знать? На твое будущее это нисколько не повлияет.

– Что же на него повлияет? – задал Керя еще один вопрос.

– То, что ты начертал, – ответил Агасфер. – Как-никак, угрожаешь целую планету... как там у вас? трахнуть, вспомнил.

Керя, не забывший о вечерних кошмарах, почти выкрикнул, готовый поверить во все:

– Нет! не надо! Я не хотел планету, я не буду!..

– Тебе никто и не даст, – усмехнулся старик. – Планету трахнут другие. Но ты, к сожалению, выразил серьезные намерения, и это без внимания не осталось. С одной стороны, твоя заявка представляется всеобъемлющей. Но, как я уже сказал, планету, не говоря уж о Вселенной, тебе никто не вручит – больно жирно будет. С другой стороны, тебе решили предложить нечто универсальное – в соответствии с запросами. И остановились на мне. Видишь ли, я, по прошествии стольких лет, уже не совсем человек, а больше – легенда. Легенда, которая учит, что высшее благо и высшая кара идут рука об руку. Мне даровали бессмертие, которое, такое желанное для подавляющего большинства, обернулось проклятием. А наложенное проклятие обернулось высочайшим благом, потому что только благодаря ему я могу рассчитывать на пол-

ное, окончательное прощение. В этом заключается одно из самых важных свойств вечного движения – и я, Вечный Двигатель, являюсь его носителем. С определенными оговорками можно утверждать, что именно я – пускай во многом иносказательно – являюсь всем, что двигается. Так вот и было решено внушить тебе сильнейшее желание осеменить по причине врожденного человеческого идиотизма величайшую идею, запятнать ее твоим поганым семенем в надежде породить убудка, каких свет не видывал. Утешения ради скажу, что очень многие пытались сделать то же самое – правда, не в буквальном смысле – и потерпели неудачу. И у тебя, разумеется, ничего не получится, ибо овладеть мною ты не сможешь чисто технически – ведь я все время иду, как ты заметил. Не хочешь ли попробовать?

С возрастающим ужасом Керя понял, что да, он хочет, он зверски хочет осуществить это невозможное желание. Он попытался остановиться и открыл, что сделать этого не может – ноги перестали ему подчиняться и знай шагали себе дальше, не чувствуя усталости.

– Кроме того, – не умолкал старик, – такое решение отлично справлялось и со второй частью того, что ты грозился сделать.

Память у Керя была дрянная, он уж позабыл, что значилось под вторым номером, в чем и сознался.

– Ты похвалялся, будто выпьешь все, что жижее асфальту, – напомнил Агасфер. – Чаша, которую тебе предстоит испить, не идет, бесспорно, с асфальтом ни в какое сравнение. Впереди у нас долгий, очень долгий путь. Ты будешь использовать всевозможные хитроумные уловки, стараясь добиться своего, а я, дразня тебя всячески, развею в прах твои мечты. Ведь это очень просто – надо лишь все время идти, не останавливаясь – целую вечность.

– Но почему, почему именно я? – Керя взвыл и вцепился себе в волосы.

– А почему – я? – парировал старик.

Они шли, не снижая скорости, и покосившиеся телеграфные столбы вдоль дороги словно отшатывались от них, а неблагозвучные, варварские названия окрестных деревень, начертанные на щитах, точно отвечали специфике мест.

© август 1998

Вдох-выдох

Мите Калугину, а заодно уж – философу Бодрийару, которого он блестяще перевёл

Сайт засорился.

Личный сайт Виктора Тренке был вновь атакован вирусом.

Вместо текста, любезного Виктору, на экран приползло изображение бородатого жизнелюба в полосатых подштанниках. Жизнелюб страдал ожирением, но сам об этом не знал и выглядел удручающе бодрым; одновременно, расплываясь, он возбуждал воображение – именно возбуждал, не хуже заправской проститутки. Жизнелюб, казалось, с минуты на минуту заблеет. «Медоточивый баран» – вот как хотелось его определить.

Тренке стоило больших усилий не сплевывать, и он машинально отключил звук – на всякий случай. Не дай Бог, и вправду затеет блять. Вирус преследовал его упрямо, из программы в программу, из сайта в сайт, с печальной целеустремлённостью. Это был очень хитрый вирус, защищённый чёрт знает, чем – ничто его не брало, ничто не смогло совладать с кретинической улыбкой самовлюблённого идиота, который именовал себя не больше и не меньше, как «Матёрый Шехерезад». Псевдоним, достойный мастера.

Хвала Всевышнему – Виктор был дока на всякие штуки. Пощёлкав клавишами, он скинул урода в помойку – правда, не без ущерба для себя: что-то сбилось, и пришлось ознакомиться с последними известиями. Некто Вискребенцев, международный террорист, вышел через электрический уют в Интернет и послал в барабанную полость губернатора убийственный ультразвук. Виктор покорно впитал эту жуть, за ней – вторую и третью, пока выпуск новостей не подошёл к концу. Сайт очистился, однако работать уже не хотелось, и Виктор заказал себе завтрак посредством электронной почты. Сбросив деньги на счёт ближайшей пиццерии, он всё же принудил себя вернуться обратно. Попытался перечитать написанное, старательно при этом игнорируя фрагментированную, ушербную физиономию Шехерезада, который, битый антивирусными программами, по-прежнему стремился влезть в его личную жизнь. Куски Шехерезада упрямо всплывали то в правом верхнем, то в левом нижнем углу экрана. Клок бороды прикрыв название недавно начатой статьи. Потом борода пропала, но зато оделся в подштанники эпитаграф.

«Ну, посмотрим», – сказал себе Виктор и, вздохнув верблюжьим вздохом, нажал неизвестно на что – ему улыбнулась удача, он попал в яблочко: всё исчезло. Тренке помедлил, затем набросился на клавиатуру – поспешно, яростно, в надежде упредить настырную голую бороду. Это ему удалось: перед глазами чернел неповреждённый текст, покорный авторской воле. «Уровень цивилизации – это прежде всего уровень комфорта», – прочёл Виктор и выругался, потому что вдруг случился сервис, и роль велеречивых подштанников перешла к меню заказа: доставили пиццу и всё, что положено к ней. Пришлось вставать, расписываться, разбираться с банковскими счетами, и тому подобное. Когда формальности были улажены, Виктору уже не хотелось ни есть, ни работать. Он подсчитал в уме, сколько раз за сегодняшнее утро заставлял себя взяться за дело. Вроде бы трижды, но окончательной ясности не было. Возможно, больше; возможно – ежесекундно. Пришлось выбирать: уничтожив пиццу, Виктор Тренке уже наверняка не смог бы выжать из себя ни строчки. Он отпихнул от себя хрустнувшую коробку и впился взглядом в монитор: каким-то образом Шехерезад ухитрился пробиться снова. На сей раз бородач не стал тянуть кота за хвост и предложил себя с пылу и с жару:

«Я хочу быть с вами. Я хочу, чтобы вы знали обо мне абсолютно всё. Мне надоело быть анонимным, неизвестным составителем электронных сообщений; мне хочется войти в каждый дом и донести до хозяев пусть несовершенный, но в то же время неповторимый мир меня –

бородатого, как видите вы на представленном снимке, в трогательных трусах, беззащитного, ранимого... Мне хочется сесть возле вашего очага, нашептать вам сказку о странных мыслях и чувствах... Таков ли я, каким представляюсь вам, о мои невидимые зрители? Я бессилен. Я не в состоянии ответить, отрезанный сотнями миль... вы не знаете меня, но я упрям! О, как я упрям! Настанет день, и я ворвусь к вам почти во плоти, вы будете знать обо мне решительно всё, вплоть до дырок в трусах – тех самых, что сейчас на меня надеты...»

«Да, я тоже хочу ворваться», – подумал Виктор, против воли соглашаясь с вирусом. Перед умственным взором моментально предстали его собственные будущие, пока ненаписанные книги: в стальных переплётках, обтянутых свиной кожей – так некогда издавали «Майн Кампф», рассчитывая на вечную память.

Вирус, видя, что никто не препятствует его жизнедеятельности, спешил:

«Мне довелось путешествовать по равнинам Лос-Анжелеса, которые некогда бороздили волки и останки мамонтов... древняя пропасть медлительности, которая выказала себя в бесконечной геологии... это было бесконечное минеральное путешествие... Как известно, тишина – это не то, откуда убраны все звуки... Это не облака плывут в вышине, это мозг. Это чудесные актуальные следствия лучезарных симптомов успеха... Это наиболее тотальная поверхностность... апофеоз минеральности...»

Виктор порадовался, что не съел пиццу. Желудок втиснулся в глотку и порывался дальше, на выход. Создавалось впечатление, что Шехерезад элементарно гадит и старательно прячет это обстоятельство в витиеватых фразах. Неподготовленный читатель усмотрел бы в подобном лингвистическом дристе только бред, и ничего сверх бреда, но Тренке не повезло: он столько раз имел несчастье читать бесцеремонного Шехерезада, что начал кое в чём разбираться. В частности, в том, что речь шла, по всей вероятности, о каких-то личных впечатлениях последнего от путешествия невесть по каким пустыням и городам. Письма, так сказать, русского путешественника из пушки на Луну. Из Петербурга в Москву на пароходе «Биггль». Автор – Гамаюн Карамзинов, или Карамзин Гамаюнов, или Кармазин – как вам больше понравится. Виктор пытался разыскать писателя во плоти – безуспешно. Никто (и в этом не было ничего удивительного) нигде и никогда не слышал о Матёром Шехерезаде, равно как и о его странствиях по окрестностям Лос-Анжелеса. Так что неизвестно ещё, что за подштанники. Полуобнажённый гость казался порождением самой сети – такое предположение само по себе не могло быть новым: уж больно часто в бульварной литературе инфернальные призраки, более или менее страшные, или более или менее жалкие, подавались как творчество недалёковидного человеческого гения. Однако Виктор не мог не испытывать известной доли благодарности к настырному гостю, ибо тот своей неуловимостью, своей безнаказанной навязчивостью подтверждал его собственные – Виктора – соображения. Яснее выражаясь, Тренке только о ему подобных и писал – вот только иллюстрация казалась чересчур карикатурной и потому оскорбительной.

Виктор не однажды задумывался: а сколько, собственно говоря, человек ознакомилось с его творчеством? Он сознавал, что подобный подсчёт невозможен, сеть есть сеть. На самом деле писателя знают и понимают (относительно), пока он ещё не успел выплеснуться в мир, потому что круг его читателей ограничен близкими людьми. Его знают и потому имеют приблизительное представление об устройстве его души, могут худо-бедно воспринять его идеи – это же он! это наш запевала – или наш тихоня – Женчик, Фунтик или Рудольф взял да и написал вдруг рассказ. Слёзы умиления, беззлобные усмешки, несоразмерные таланту восторги. Ну, валяй, наш даровитый Фунтик. Не станем скрывать – ты преизрядно удивил своих друзей, но твой чудаковатый – нет, мудаковатый – поступок не выходит за рамки. У каждого свой бзик, давай, кропай дальше, мы будем тебя хвалить – не жди, что слишком сильно, ровно столько, чтоб не обидеть. Откроем секрет: мы все, знаешь ли, писали понемногу... это пройдёт.

Но дело добром не кончается, процесс становится неуправляемым. И вот уж распечатку держит некто малознакомый, а вслед за ним – вообще чёрт знает, кто. Любопытно, какие мысли приходят им в головы? Возможно, им мерещится, что опус сей исторгнут лысым толстяком в бейсболке и солнцезащитных очках, тогда как на деле распечатку настучал осклизлыми щупальцами фантастический спрут, который укрылся в тайном месте и тихо радуется, что ловко водит за нос несведущую публику.

Тренке не мог отрешиться от подозрений, что сам он может отразиться в чьем-нибудь воображении подобным спрутом.

Вирус продолжал:

«Эйфорическая форма детерриторизации тела не может не быть актуальной в своих чудесных лучезарных следствиях. Это, если будет позволительно так выразиться, есть истинные перипетии в поле сексуальности... Когда ты плывёшь сквозь леска прямоугольных апельсинных растений, ты начинаешь понимать, что тишина – это не то, откуда убраны все шумы...»

Дойдя до этой фразы, Виктор окончательно раскис. Он сломался аккурат на «лесках» и дальше читал исключительно по инерции. Тексту Шехерезада служил фоном его личный, викторовский текст, ночами выстраданный, с которым были связаны большие надежды! Виктору было отчаянно жаль своих абзацев и пробелов – их покрывала невозможная, непобедимая ахинея, они едва виднелись на периферии экрана. Он сидел неподвижно, утратив надежду и волю. Статья была почти готова, её оставалось только набить и отправить по назначению; внутренний голос обнадеживал Виктора, нашёптывал ему, что на сей раз он добьётся задуманного. Его соображения оценят по достоинству, и тем самым сменится их форма: написанное перейдёт из электронного небытия в увесистый том – настоящую книгу, каких теперь остались единицы. И если бы не подштанники...

«Имя... вызывающее в сознании радиальную геометрию по краям льдов... На всех перекрёстках Лос-Анжелеса распевает кукушка электронных часов: такова пуританская obsessia. Отсюда – выражающее симпатию растягивание челюсти (улыбка, что ли? – подумал Тренке), отсюда – интросекция Божественной юрисдикции в повседневную дисциплину. Повсюду – оргия сервиса и товаров... заходы солнца – это гигантские радуги, которые по целому часу стоят в небе (за портвейном, не иначе). Подземная минеральность равнин одевает здесь поверхность в кристаллическую растительность...»

Тут Виктору пришла в голову сумасшедшая мысль: не всегда же были компьютеры! С чего он, собственно говоря, расстроился? Ну-ка, поищем... Он покопался в ящике стола, нашарил ручку с подсохшей пастой, придвинул к себе лист бумаги. Как же это делалось?... Чёрт побери, по-другому он раньше и не умел... и получалось! Экран светился, отвлекал от дела, и Виктор озлобленно выключил машину. И моментально ощутил абсолютное одиночество, бесповоротную отрезанность от жизни. Он остался наедине с самим собой, с листом бумаги на столе и с мыслями, которые, быть может, никогда не прорвутся в общедоступное информационное поле. Попробовал вывести первое слово – проклятье! Даже почерк изменился, буквы ложатся криво, будто пишет паралитик. Перо не поспевает за мыслью – то ли дело клавиши, с ними гораздо проще, мысль оформляется стремительно, готовая при лёгком касании кнопки уйти туда, куда ей и положено уйти – к другим мыслям, мыслям миллионов сочинителей, что сидят сейчас, прикипев к мониторам, и в исступлении кричат о себе невнимательному, занятому сотней взаимоисключающих задач миру. Есть такой Бобчинский, есть! Однако не стоит сдаваться так быстро, надо попробовать ещё. Самое главное – никаких заголовков. Начертанное заглавие порождает иллюзию завершённости процесса. Лучше так: параграф первый. Дьявол! – это тоже отсрочка, то же самодовольное топтание на месте. Наверно, следует переписать уже написанную фразу: «Уровень цивилизации – это прежде всего уровень комфорта». И от неё уже танцевать. Почувствовав себя уверенней, Виктор склонился над сто-

лом и быстро написал, что хотел. А прочитав – ужаснулся: что за чушь! При чём тут цивилизация? Какой, к чертям собачьим, комфорт? Разве об этом он собирался писать?

Он собирался написать... собирался написать... В голове завязалось унылое месиво. Виктор знал, что под толстым слоем предлогов и союзов снуют беспокойные рыбки-идеи, желая подобраться ближе к поверхности. Но бессвязный кисель мешал им это сделать. Взглянув на часы, Тренке увидел, что сидит уже сорок минут, а воз и ныне там. Закралось малодушное желание пройтись по клавишам, однако воспоминание о равнинах Лос-Анжелеса теперь пошло ему на пользу: Виктор вернулся к бумажному листу. И мало-помалу, по чуть-чуть, понемногу, он начал писать. Не слишком заботясь о стиле, с орфографическими ошибками, он закончил первую страницу, вторую, перешёл к третьей... На последней странице писал он, в частности, вот что:

«...Пришедшие ниоткуда сегодня возвращаются в никуда. Для нашего настоящего характера неумолимая закономерность: всё, что более или менее значимо для человечества и более или менее ощутимо влияет на него, оказывается абсолютно анонимным и неопознаваемым. Развитие единой информационной сети, помноженное на гарантированный доступ в неё породило полную анонимность как творчества, так и всевозможных управленческих программ. И это сочетается с сомнительной ценностью самой информации, которая принципиально не может быть полностью достоверной. По-прежнему не зная истины, человек самозабвенно насыщает эфир своими неполноценными соображениями. Лишённый способности к телепатии, он изобрёл иной способ делиться мыслями с себе подобными. И не заметил, как окончательно подчинился толстой, непрошибаемой ментальной скорлупе, чья электронная бесплотная структура надёжно укутала планету.

Это – общеизвестные факты. Но что за ними стоит?

Я сижу за столом. Я пишу. И вот работа готова. Но откуда вдруг взялся страх, откуда неуверенность, боязнь несправедливой оценки? Чуждая, далёкая птица-рукопись оперилась и умчалась неизвестно куда. Кто-то вздумает судить о её создателе, имея перед глазами лишь её – каким предстанет автор в чужом сознании? Неизбежен вывод, что образ его будет искажён до неузнаваемости, поскольку написанное вынужденно лживо, несовершенно. Эта горькая истина известна каждому, кто хоть однажды приступал к подобному труду. Даже Шехерезад страдает – ему ужасно хочется проникнуть в дом к читателю лично, в подштанниках, что-то объяснить, что-то доказать...»

На мгновение Виктору стало жалко Шехерезада. В главном они были братьями. Как заметил Честертон, графоманов не бывает – бывают плохие и хорошие писатели, как бывают, например, плохие и хорошие художники, сапожники, инженеры. Любое творчество порождает нечто новое, небывшее – даже надпись на заборе. Не было же надписи! Обоим присущ глубинный страх перед отражением в постороннем мозгу. И если раньше оставалась возможность сжечь тираж неудавшейся книги, то теперь она напрочь утрачена. Слова растворялись в сети, как соль в воде, и сеть неслышно гудела, наливаясь чудовищным содержанием.

Виктор ошалело посмотрел на лист и вычеркнул Шехерезада. Он не собирался упоминать это имя в настоящем труде. И сюда пролез! Как он не заметил? Тревожно пробежав глазами написанное, Тренке успокоился: вирус появился в самом конце и ничего не успел испортить. В целом же вышло вполне недурно – против ожидания. И даже причины гордиться собой обнаружились – дескать, и так мы можем творить, и этак, и на корточках, и вприсядку. Есть ещё порох в пороховницах. Довольный собой, Виктор вспомнил, что пороху-то может и не хватить, снял крышку с коробки с пиццей, взял кусок и подошёл, жуя, к распахнутому окну. Долго глядел на книжную лавку для состоятельных людей, что находилась точно напротив. Виктора частенько посещала застенчивая мысль, что это может оказаться символичным. Многообещающее соседство. Он надолго оцепенел и вперился в кованые двери немигающий взор. День давно наступил, улица была полна прохожих, но ни один, сколько стоял Виктор, в лавку не загля-

нул. Не каждому были по карману роскошные металлические издания в свиных переплётках, их приобретали лишь богатые снобы и коллекционеры. «Неподалёку паслось стадо свиней...» – некстати вспомнил Виктор и помотал головой. Его не смущало, что книг почти никто не покупает, дело в признании, в заслуженном – хоть и относительном – бессмертии. Чести быть изданным в кованой обложке удостаивались лучшие из лучших, прошедшие в Интернете тщательный отбор. Специально созданный совет вылавливал крупницы золота из мощного потока бессвязной чепухи. Понимая в глубине души нелепость и суетность своих мечтаний о кожаной славе, Виктор не мог от них отказаться. Это было не в его власти.

Наконец он взглянул на часы и сказал себе, что если и дальше будет так вот стоять, то грёзы останутся грёзами. Отхлебнув минералки, он вернулся к столу и не без усилия взялся за ручку.

«...Давным-давно, когда человек ещё плохо выделял себя из окружающей среды и вёл себя соответственно, он подвергся воздействию легиона. Несметная рать безымянных демонов и бесов атаковала младенческое сознание и утвердилась в нём, именуясь в дальнейшем разумом. Основной атрибут дьявола – полуправда, и человеческий разум способен только к ней. Иными словами, сатана сделал глубокий выдох, а человек вдохнул, усваивая при этом не кислород, а нечто значительно менее полезное для себя.

Отравленный дар переваривался на протяжении столетий. Человек готовился ответить, человек готовился разродиться ответным легионом ублюдочных идей, искажающих суть... Это напоминало тканевой обмен, окисление гемоглобина, пришедшего из воздуха в кровь. Нам выпало сомнительное счастье жить в эпоху великого выдоха: человечество возвращает хозяину готовый продукт. Человечество делает выдох. Безымянность вселившихся бесов переходит в анонимность управления и творчества. Из легиона в легион: сатана, сделавший в незапамятные времена выдох, теперь вдыхает – и наслаждается удушливым ароматом. Человек же, надышавшись, выдыхает; история – это время, и ничего больше; история – дыхательный цикл сатаны. Выдохнул, словно стопку выпил – вдохнул, занюхивая рукавом. А дальше... Финал очевиден: высочайший гнев, расправа с мятежным ангелом, голова с плеч, конец вселенной. Всемогущий Создатель возвращает себе перехваченную было инициативу».

...Очень некстати нахлынуло чувство беспомощности. Он чертыхнулся: ускользнула мысль. Как не вовремя! Виктор точно знал, что теперь уже не вернешь. И сразу стало пусто и мутно, и он с трудом удержался от того, чтобы не порвать в клочья уже написанное. Придя же в себя, обнаружил, что монитор уж снова светится вовсю и приглашает чем-нибудь себя заполнить. Значит, не заметил, как включил – уже привычка, уже впиталось в кровь и управляется спинным мозгом – хорошо, если высшими его отделами. Тренке вздохнул и решил разгрести электронные залежи почты. Он получал чертову пропасть сообщений и давно уже перестал их читать, сбрасывая в архив автоматически; между тем послания множились, копились в компьютерной памяти, и раз уж ничего путного не приходит в голову, то самое время почистить авгиевы конюшни. Вирус куда-то пропал – он, похоже, нарочно появлялся лишь в моменты истинного творчества; когда же предстояла скучная, грязная работа, отсыпался где-нибудь на винчестере.

Как и следовало ожидать, дерьма набралась целая куча. Виктор разделил письма на три категории: отзывы, предложения и шизязвки. Если попадалось предложение, то он читал лишь первую строчку – все призывы были удручающе стереотипны. Конечно, предлагали намахнуть по маленькой – через сеть, и поболтать. Естественно, поступали сексуальные приглашения. В одном из писем очередной невидимка с ирландской фамилией О'воц предлагал заняться любовью сразу с сотней ему подобных – таких вариантов Виктор боялся пуще огня. Тут уж точно не ведаешь, с какого рода тварью предстоит оргазм, и никакой виртуальный скафандр не поможет. Можешь нарваться именно на восьминога, пребывая в сладком убеждении, что где-то в непроглядной дали стучит по клавишам тоскующая нимфа. Предлагали сразиться

в «Кармагеддон». Предлагали спеть сомнительные псалмы и гимны. Зазывали принять участие в мероприятиях, смысл которых был Виктору недоступен вообще.

...Это безликое безумие разбавлялось другим – отзывами и рецензиями. С ними Виктор был более внимателен: прочитывал до конца и вспоминал, что кое-какие уже читал раньше. Например, то, в котором ему (за что – неизвестно) выносила смертный приговор «Победоносная Армия Кавказских Кинжалов». Или то, в котором признавалось (пунктуация хромала) его духовное родство с Платоном, Бодлером, Буниным и Эдгаром Берроузом – сразу со всеми. Или... «мышь», накрытая ладонью Виктора, дернулась и замерла.

«...Ваши произведения незаурядны, – прочёл Тренке. – В них постоянно присутствует отталкивающая составляющая, но только это свойство и преобразуется в источник соблазна...»

Подобные похвальные слова – а это была похвала – летели к Виктору постоянно, отовсюду, и не было причины изымать из потока славословий эту одну хвалебную песнь, начисто лишённую оригинальности. Дело было не в содержании письма, дело было в подписи. Послание составил не какой-нибудь там Дист Бак Терриоз, оно оказалось подписано Матёрым Шехерезадом. Если разобраться, то и в этом факте ничего удивительного не усматривалось, но два обстоятельства настораживали. Во-первых, Виктор получил и (непонятно, почему) прочитал сообщение задолго до того, как вирус начал ему докучать. Во-вторых, необычно громкое, несуровое имя совершенно истёрлось из памяти Виктора.

Впрочем, не было большой беды и здесь. Ну, прочёл писака что-то из его сочинений; ну, выразил жалкий восторг. Ну, вздумал, наконец, впоследствии намозолить глаза, греясь надеждой, что заметят и запомнят надолго – Бобчинский. А что забыл – так мало ли что ещё забылось, Тренке вовсе не обязан держать в голове сведения о сумасшедших со всех концов света. Только оставался нюанс, третий момент: память Виктора вдруг приоткрыла сокровищницу, и всплыл Лос-Анжелес, а следом – электронные часы с кукушкой.

Вот это событие заставило почесать в затылке. Виктор хмыкнул и покачал головой: подозрительное совпадение!

Очень давно, на заре своей писательской деятельности, юный Тренке создал полудетективный рассказ, действие которого происходило в Лос-Анжелесе. С выбором места всё понятно: большинство приличных детективов шло с Запада, из США; молодому дарованию, делающему первые нетвёрдые шаги, простительно мелкое подражательство – настолько смешное теперь, что становилось не забавно, а неловко. Уже гораздо позднее, когда появилась сеть, он попросту слил туда всё, что написал за полтора десятка лет, после чего старался не вспоминать о былом убожестве. А вот кукушка|рассказ про кукушку был закончен сравнительно недавно. Полумистическое-полуабсурдное озорство, пачкотня – история электронных часов, куда вмонтировали механическую птицу. Кукушка ни с того, ни с сего взялась вдруг нести яйца... в них завязалось неизвестное и недоброе... владелец часов не знал, как поступить... и т. д., и т. п. Да! Два совпадения, как известно, суть нечто большее, чем простая случайность.

Тем временем соскучившийся Шехерезад начал новое наступление. На сей раз Виктор усмотрел в его лице черты борца из цирка начала XX века. «Своевременно», – пробормотал Виктор и стал сосредоточенно вчитываться в осточертевшую галиматью. Минеральность... не облака, а мозг... перипетии в поле сексуальности... 'апельсинные деревья... «У меня были апельсиновые», – автоматически поправил Шехерезада Виктор и тем признался во всём. Он покрылся испариной. Просматривать компьютерный архив не имело смысла – вирус и шагу ступить не давал. Придётся рыться в папках и коробках, проверять печатные экземпляры.

Этого, в общем-то, можно было не предпринимать, Тренке всё понял, но руки работали помимо сознания и лихорадочно копались в бумажной кипе. Рассудок сопротивлялся, но в то же время полнился отчаянием: правда была неумолима, а свидетельства, которые сейчас – через минуту, через миг – разлягутся на столе, добьют последние иллюзии. И свидетельства разлеглись: трактат, посвящённый повальной автоматизации, где жизненным процес-

сам в ряде случаев приписывалась определённая «минеральность». В другом – тоже раннем – произведении Виктор весьма опрометчиво сравнивал облако с мозгом. Помнится, ему было просто лень искать подходящее сравнение, и он вклеил первое попавшееся. Поле сексуальности – вот же оно, занимает почётное место среди разглагольствований о едином поле сознания. В нём, разумеется, возможны перипетии. Кушать подано – апельсиновое дерево: выросло, понимаете, в самом центре потрясённой берёзовой рощи, повинувшись натужному сюжету...

Виктор Тренке уставился на компьютер. Значит, всё-таки он! значит, всё-таки сбываются прогнозы, и оборзевший аппарат самостоятельно штампует всякий бред, предварительно надёргав из хозяйских работ бессмысленных цитат! Виктор не знал, радоваться ему или сокрушаться. С одной стороны получалось, что он своим творчеством нечаянно запустил новый, непобедимый пока ещё вирус, и тем обеспечил себе хлопоты и заботы. С другой – он получил самое верное, самое надёжное подтверждение своей гипотезе. Близится время, когда ментальный дубль, сотворённый человечеством, перестанет нуждаться в родителе и займётся устройством собственных дел, далёких от людских интересов. А фотография? А борода, а подштанники? Ерунда! это семечки для компьютерной графики. Но в его компьютере нет даже программы, которая могла бы создавать столь совершенные графические образы. Значит, скачал из сети без спросу, украл, и, может быть, что-нибудь стибрил ещё, и скоро применит – на горе владельцу и его почитателям. Уже применяет – в сообщениях Шехерезада имелись целые куски, которых Тренке точно никогда не писал, которые только в общем согласовывались с его соображениями. Чего греха таить – подсознательно Виктор давно подозревал подобное. Он начал подозревать, когда не преуспел в поисках отправителя сообщений – автора элементарным образом не существовало в природе.

Расколошматить машину? Виктор уныло взирал на бороду счастливого электрического беса. Нет – конечно, колошматить он не будет, но жёсткий диск придётся форматнуть. С вирусом сотрётся всё – и нужное, и ненужное, все программы, все файлы, архив... Безумно жалко. В конце концов Тренке решил не пороть горячку – возможно, выход ещё отыщется сам собой. Нет худа без добра: он может пойти прогуляться и лично, во плоти посетить литературное товарищество, членом которого он числился и куда направлял свои труды в первую очередь. Таких объединений существовало очень много: виртуальные литературные клубы с маститым гуру во главе. В них вершили суд, отделяли зёрна от плевел, продвигали талантливых, топтали бездарных. В конечном счёте именно от товарищества зависело, попадёшь ты в стальной переплёт, или не попадёшь. При сетевых контактах неизбежны накладки, и порой возникали забавные ситуации: ошибёшься с клубом, или компьютер напутает, и попадаешь с мистикой, скажем, к почвенникам... Какие случались разборки! Эфир кипел от ярости, сетевая перепалка переходила все границы русской ненормативной лексики... Как ни крути, а личный контакт необходим, с ним надёжнее. Виктор надел шляпу и плащ, вооружился старомодным зонтом, выключил Шехерезада (так он поневоле начал называть компьютер в целом) и вышел из квартиры.

Моросил дождь, Виктор недовольно поморщился. Он уже несколько дней не покидал дома, и широкая, тёмная от влаги улица его смутила. Мелькнула мысль, что так недолго и до агорафобии, боязни открытых пространств. К чёрту! Тренке раскрыл зонт, сделал несколько шагов и сам не понял, как очутился на противоположной стороне. Ему туда было совсем не нужно, но там находилась книжная лавка для богатых. Виктор не мог удержаться, и ноги сами подвели его к витрине, где за стеклом были выставлены образцы печатной продукции. Он стоял и зачарованно смотрел на пудовые собрания сочинений. Мысли переместились в область солнечного сплетения и встроились в пульсацию брюшной аорты – тук! тук! тук! В голове метались размытые, недоделанные картинки – белые манишки, фракы, бокалы с шампанским, трибуны, микрофоны, ослепительные вспышки фотоаппаратов. Дверь магазина распахнулась, вышел человек. Посторонний звук отвлёк внимание Тренке от фолиантов, он

бросил взгляд на вышедшего, и ноги у него подкосились. Это был Шехерезад собственной персоной – правда, полностью одетый, и оттого выглядевший странно. Вид у него был важный и довольный.

Через секунду он перестал быть таким: ему заступили дорогу.

«Виктор Тренке, к вашим услугам», – Виктор слегка поклонился и схватил бородача за грудки.

«Что вы делаете, уважаемый? – вскрикнул испуганный вирус, обросший костями и мясом. – Что вам от меня нужно?»

«Сейчас узнаете, – отозвался Тренке голосом успокаивающим и зловещим. – Пройдёмте со мной, и вы всё поймёте».

Неизвестно, какой оборот приняла бы эта сцена, если бы Шехерезад не узнал писателя. Он облегчённо вздохнул, смекнув, что столь уважаемый человек навряд ли зарубит его топором и уж точно не разделает после этого в ванне, как свиную тушу.

«О Боже! – Шехерезад попытался улыбнуться. – Вы и в самом деле Тренке! Горжусь знакомством...»

«А я – не очень», – процедил сквозь зубы Виктор и поволок его через улицу. Втащил по лестнице на четвёртый этаж, втолкнул в прихожую, запер дверь и ключ опустил в карман. Не говоря ни слова, прошагал в кабинет, включил компьютер, дождался, пока знакомый образ завладеет экраном.

«Ну-с, я требую объяснений», – Виктор обернулся и увидел, что Шехерезад уже стоит у него за спиной и пялит глаза на монитор.

«Ах, вот вы о чём», – протянул Шехерезад, и лицо его сразу сделалось виноватым.

Тренке сел в кресло, закинул ногу на ногу.

«Именно об этом», – кивнул он и замолчал в ожидании ответа.

«Позвольте присесть», – попросил толстяк.

Виктор раздражённо пожал плечами и указал на свободный стул. Шехерезад сел на краешек и расстегнул верхнюю пуговицу рубашки, ослабил узел галстука.

«Видите ли, – произнёс он тихо, – очень хочется достучаться до людей. Вы писатель – несравненно, неизмеримо талантливее меня, вы поймёте. А я – что ж, я сознаю, что надежд у меня мало... кто я такой? Но остановиться я не в силах. Я тоже писатель, а Кларк – Артур Кларк – сказал однажды, что заставить писателя не писать способен только кольт сорок пятого калибра. Вот я и...»

Шехерезад опустил голову и смолк.

«Я не про то, – возразил ему Виктор. – По какому праву вы пользуетесь моими текстами?»

Толстяк изумлённо вытаращил глаза:

«Я? Вашими текстами? Помилуйте, я даже помыслить не мог...»

Виктор вскочил на ноги, схватил со стола пачку листов.

«Не могли? А это? А Лос-Анжелес? А кукушка? А поле сексуальности?»

Шехерезад продолжал таращить глаза и явно ничего не понимал. Тренке приступил к нему и склонился над гостем.

«Я могу продолжить список. Вы, словно сорока, таскаете всё, что блестит, сшиваете, как попало...»

Гость прижал руки к груди:

«Могу поклясться всем, что имею... Возможно, случайность? Я читал буквально всё, что вы написали, я ваш верный, преданный поклонник. Если что-то и проскочило, то я ведь не нарочно. Вы же знаете – засядет в мозгу, забудется, а после всплывает уже как своё собственное».

Виктор Тренке молча смотрел на него. Шехерезад заметался по комнате, не зная, чем искупить свою вину.

«Почему я не мог вас обнаружить?» – спросил Виктор устало и безнадежно.

К тому на мгновение вернулось утраченное самодовольство.

«Я ведь компьютерщик по специальности, – подмигнул Шехерезад. – Не дело моей души, но кое-что умею. Могу объяснить...»

«Не надо, – отозвался Тренке. – Вы можете это убрать?» – он указал на подштанники.

«Сегодня же вечером, – с жаром закивал Шехерезад. – Даю вам честное слово...»

«Идите», – сказал Виктор.

«Что?»

«Ступайте отсюда, и поскорее. Если считаете себя обиженным, я признаю, что погорячился и теперь сожалею».

Шехерезад всплеснул руками.

«Господин Тренке, какие обиды! Это я у вас должен валяться в ногах!»

«Идите, – повторил Виктор. – Всё в порядке. Что вверху, то и внизу. Я выдохнул, вы вдохнули. И не только вы. Много кто вдохнул; ваш ответный выдох принял форму вирусных подштанников, а у других кто знает, как я отразился там, далеко-далеко? Нет, не про нашу человечью честь сталь и кожа».

Шехерезад недоумевающе хлопал глазами.

«Если можно, поконкретнее», – предложил он осторожно.

«Это не поможет, – вздохнул Виктор Тренке. – Отправляйтесь по своим делам, и дышите глубже».

© июль – август 1999

Джинн тонет

Старческие вопли о помощи раздавались давно, но со спасательной станции только сейчас засекли колеблюмую морем чалму, под которой разъехалась борода. Заметили в мощный бинокль и поначалу приняли за медузу.

Между тем, джинн находился в отчаянном положении. Сосуд, покалеченный временем и водяным столбом, лопнул, и джинна вышвырнуло на поверхность после тысячелетнего заточения.

– Джинн тонет! Джинн тонет! – взялся вопить старик.

Чалма наводила на тревожные мысли о неизбежном терроре, который вскоре и состоялся.

Ибо пляжники плотным кольцом окружили станцию, слыша одно: «Джин-тоник!» Солнце палило, и от подобной услуги не отказался бы никто.

Их заблуждение усугубил вдруг уверовавший спасатель, который вытянул палец и начал кричать на всю Калифорнию: «Джинн тонет!»

Джинн, из последних сил привлекая к себе внимание, наколдовал-таки теракт: осыпал жаждущих, словно манной небесной, вожделенными банками, которые охлаждались в космических льдах. Банки падали, пробивая отдыхающие черепа и мешаясь с дождем из жаб. Уровень террористической опасности вознесся в инфракрасную сферу.

К джинну, который ухватился за буй, помчался катер.

Район немедленно оцепили, но джинн соскользнул с буя и утонул. Жабы таяли на глазах и щеках, гулко лопались ложные банки. Вокруг суетились специально обученные роботы в масках и с полным набором прививок от вирусов и прочих болезней.

Береговая охрана блокировала залив. Запоздалые вертолеты сбрасывали на буй десятки спасательных кругов и жилетов, а растерянный катер кружил вокруг, не находя себе дела. В ход пошли водолазы с аквалангистами, они подняли тело джинна и, отворачивая носы, отбуксировали его в карету «Скорой помощи».

Карета, конечно, принадлежала военному ведомству.

Какой-то сержант хотел положить спасателю на плечо руку, но передумал.

– Ты молодец, – сказал он просто. – «Джинн тонет» – так ты кричал?

– Так, – уныло подтвердил спасатель.

– Мы разработаем специальную инструкцию на случай подобных диверсий, – пообещал сержант. – Мы вооружим тебя ракетницей...

– Да у меня есть, – отмахнулся тот.

Ему было досадно и жалко джинна, которого он, спасатель, не сумел спасти. «Я некомпетентен, – шептал спасатель, направляясь к ближайшему бару. – Я неудачник».

– Возможно, в наших руках крупная шишка, – в один голос заметили береговые охранники.

...В специально разбитом госпитале патологоанатом – не без пугливого смешка – произнес:

– Я впервые вскрываю джинна.

– Ой-ли? Убери одну букву и успокойся. Все будет ОК.

Джинна – мокрого, доисторического, с ногтями, загибавшимися в кольца столетий – уложили на секционный стол, откинули бороду на лицо и вскрыли обычным продольным разрезом.

Изо рта джинна выпал клочок бумаги, совсем размокший, с обрывками слов на трех языках. Удалось разобрать только подпись: «пятнадцатилетний капитан Грант».

Из остального джинна хлынула вода, и резчик по мясу отскочил, боясь заразы. Когда вода вытекла, вышел пар, а за паром – дым.

– Да в нем пусто! – воскликнул доктор.

Разрез затянулся, и джинн, помолодевший ровно на десять тысяч лет, уселся и свесил ноги.

– Меня зовут Тони, я бармен, – сказал он весело и подмигнул онемевшему доктору. – Выше голову, старина! Мне пора, но мы с тобой непременно увидимся. И вот что я тебе скажу, приятель, скажу по-дружески, – джинн подался к хирургу, и тот отшатнулся вторично. – Никогда не спорь, старик.

Джинн, заворачиваясь в простыню и разыскивая глазами чалму, повторил:

– Ни за какие коврижки, ни за какие блага. Да не соблазнят тебя ни зелья, ни гурии, ни предательские благовония. И вот еще что: никогда и ни за что не лезь в бутылку.

© сентябрь 2004

Пусть будут узоры

1

Узоры преследовали его всю жизнь. Не больше, чем кого-нибудь другого – просто он обращал внимание. Есть такая штука: избирательное внимание, когда во всём усматривается и отовсюду слышится лишь то, что въелось в память, сделалось второй натурой. Так, зачастую врач, ловя обрывки чужих разговоров, к своей досаде постоянно слышит про анализы, лекарства и здоровье вообще. Так пользователь ПК, одуревший от сетки, воспринимает фразы, в которых поминаются провайдеры, экспореры и материнские платы.

На самом деле только самые первые – и никакие последующие – узоры были достойны припоминания – те, что на обоях в детской слагались в нехитрый рисунок. Обыкновенные цветочки со звёздочками, фон – так себе, что-то желтовато-бежевое, качество в целом – ниже среднего. Четырёхлетний Глеб лежал на диване, повернувшись на правый бок, и немигающими глазами смотрел на эти обои. Ему совершенно не хотелось спать, но мнение Глеба насчет тихого часа мало кого волновало. После обеда детям положен дневной сон.

Глеб слюнил палец и принимался сперва потихоньку, потом – все яростнее тереть дешёвую бумагу. Мокрое пятнышко постепенно превращалось в уродливое бельмо, покрытое мелкими катышками. Он и сам не мог сказать, чего хотел добиться – возможно, стремился протереть стенку насквозь и, понимая, что все равно не справится с такой непосильной задачей, желал проверить, насколько всё-таки его хватит. Глеб добирался до сырого холодного камня, осторожно скоблил его коротко остриженным ногтем и признавал свое поражение.

Почему-то его занятие буквально выводило взрослых из себя. Ему многое прощали, от него многое терпели, но мириться с надругательством над обоями не мог никто из домашних. Его бранили, наказывали, лишали то одного, то другого, а с наступлением тихого часа история повторялась вновь. Со временем Глеб начал думать, что в мире не существует проступка более тяжкого, чем изготовление из обоев мокрой промокашки. Родители, таким образом, вполне успешно справились с нелегкой задачей: понятие греха было усвоено, грех был конкретный и понятный, а потому вся дальнейшая жизнь омрачалась тенью этого непростительного деяния. Однажды пригласили Деда Мороза; Глеб укрылся за шкафом и не вышел оттуда, покуда церемония не закончилась. Дед Мороз со строгим лицом дежурного педиатра сыграл на гармошке, не без помощи Снегурочки спел про ёлку, поставил возле шкафа игрушечный грузовик и ушел на кухню принять заслуженное подношение. Новый Год, если разобратся, – праздник для взрослых, повод порадоваться, что очередные триста шестьдесят пять дней чернухи и мерзости остались позади. Детский праздник – день рождения, поскольку только дети могут радоваться своему появлению на свет.

«Чего ты испугался? – спросили у Глеба позднее, когда дверь за гостями захлопнулась. – Это же Дед Мороз! Честное слово – нам даже неудобно перед ним. Он, должно быть, обиделся».

«Вот и Дед Мороз обиделся», – безнадежно подумал Глеб и пожал плечами. К грузовику он не притронулся. Годы спустя он признался, что тогда его охватил необоримый страх: что, если Дед Мороз спросит его про обои? В смысле – зачем он их рвал?

В общем, Дед Мороз, оказалось, явился к нему с Черного Полюса – так в подобных случаях выражаются дипломированные психологи.

2

...Диван был старый, тот самый; узор – другой. Света настенного светильника хватало, чтобы ясно видеть две фигуры, отражённые в зеркале на потолке. Зеркало было обычное,

овальное, не для потолков предназначенное, но Диана уперлась рогом, и Глеб испортил потолок – вполголоса ругаясь, он приколотил зеркало, куда велели, а извёстка, пока он трудился, сыпалась в глаза и собиралась мутной взвесью в капельках пота. Телесный узор, образованный Дианой и им самим, не радовал Глеба. Слава Богу, Диана лежала отвернувшись, и то ли думала о чём-то (скорее всего, ни о чём), то ли успела заснуть. Иначе ему пришлось бы поддерживать тошнотворный разговор, обсуждая изгибы и извивы. Глеб, расслабленный, лежал на спине, курил и в мыслях говорил себе, что прекрасному лучше всего оставаться на некотором расстоянии от созерцателя.

– Прикури мне сигаретку, – пробормотала неподвижная Диана.

Не спится, чтоб ей пусто было. Глеб тяжело вздохнул, потянулся за пачкой. Тут ни с того, ни с сего залаял Джим: видно, прошёл за окном подгулявший полуночник.

– Молчать! – прикрикнул на него Глеб с неподдельным раздражением. Одно к одному – и тебе любовь-морковь, и тебе пес дурной заливаётся, когда не просят. Щёлкнул зажигалкой, с отвращением вдохнул болгарский дымок.

– Что-то не так? – Диана задала вопрос с напускным равнодушием. Она приподнялась на локте, приняла сигарету и взглянула на Глеба, слегка нахмутив брови.

– Все путём, – соврал Глеб. – Подожди, я сейчас. Он спрыгнул с дивана, набросил халат и вышел в прихожую, не успев еще решить, куда пойдёт – в сортир или на кухню за водой. Мелочь продолжала докучать: столкнулся с матерью, которой тоже приспичило выйти именно сейчас – не иначе, караулила за дверью, дожидалась.

– Опять её притащил, – беззвучно зашипела мать, и Глеб выбрал сортир.

Внутри, сидя на стульчаке, он что было сил хватил себя кулаком по колену. Нельзя. Это великий грех – такое отношение к людям. А ты – сволочь. Нет в тебе любви – делай вид, что есть. Никто не виноват в твоём уродстве. Всё на свете наполнено, пропитано Богом, и если ты не в состоянии этого ощутить, то не мешай другим жить и радоваться жизни. А ты против этой жизни брызжешь желчью, и Небеса, настанет час, с тобой разберутся. Не умножай же зла, держи в себе свой перебродивший яд.

– Вконец рехнулся, – бубнила мать из-за стены. – Связался с шалавой. За что мне это, Господи, на старости лет?

Трудное дело – удерживать яд, Глеба захлестнула горячая волна, и он привстал. Каким-то чудом сдержался, сел обратно и вызвал из памяти образ почти сорокалетней давности. Спору нет, в те времена он совсем по-другому относился к родителям. Светлого было много, даже с избытком; раскаяние не заставило себя ждать. Всё же не так! Он же знает, что дела обстоят иначе, что они видятся ему в черном свете – в действительности все без исключения добры и прекрасны, и не желают ему ничего, кроме блага. Его проблема – слепота, причем слепота некогда зрячего человека – самая ужасная ее разновидность. Насколько проще жить слепому от рождения, не знающему света, не понимающему цветов. Ведь он понимает умом, что мать та же самая, что в годы детства; ему ли не знать, сколь редкой красотой прекрасна Диана, и уж коль скоро она не в силах говорить ни о чем, кроме секса, то это нормально, в конце концов! это естественное поведение здорового человека, лишённого комплексов. Что он, если разобраться, может подобным разговорам противопоставить? Всё тот же бесконечный яд?

– Ты там заснул?

– Оставь меня в покое! – гаркнул Глеб и услышал, как мать зашаркала к себе. Ему захотелось напиться, но он не умел напиваться и делал это за всю свою жизнь не более двух-трёх раз. Ну, тогда помереть. Вот было бы классно. Испустив очередной тяжёлый вздох, Глеб встал, спустил воду и с обречённым видом вышел. Он твёрдо решил осадить Диану, если ей вздумается потребовать от него повтора. Без обиняков, по-мужски – сказано же кем-то, что трус не тот, кто боится оплошать перед женщиной, а тот, кто не способен ей сказать: «Знаешь, милая, достаточно».

– Убери отсюда одеяло, защечных дел мастер, – сказала Диана. – И без него тепло. Она лежала с широко раскрытыми глазами, устремляя взгляд в потолок и призывая стекло в свидетели.

3

Он заснул вслед за ней, и последней мыслью перед сном было предвкушение нового дня, тоскливое предчувствие дальнейшей жизни и дальнейших действий. Он больше всего на свете любил ночь, в особенности – время от двух до четырёх часов, когда, проснувшись по какой-нибудь сатанинской причине, смотришь на часы и с облегчением видишь, что до рассвета ещё далеко.

Во сне он долго разъезжал по смутно знакомым холмам, и разные места, в которых ему случилось побывать давным-давно, располагались рядом, тогда как в реальности их разделяли сотни и тысячи километров. Покуда он странствовал, ему не встретилась ни одна живая душа, ибо вряд ли возможно назвать живыми душами людские стада, одновременно и близкие, и далёкие, окружавшие его со всех сторон. Ни одно лицо не выделялось в пестрой толпе, и Глеб катил совершенно один, в одиноком полуигрушечном вагончике, под горку и с горки. Однако стоило ему сойти на какой-то лужайке, как появился человек: невысокого роста, с неопределённым морщинистым личиком, в заношенном полушубке и сдвинутым набекрень картузе. Человек сидел на пеньке и покуривал трубку. Было в нем что-то от местечкового еврея.

– Подбери камень, – сказал юродивый.

Глеб не помнил, что ответил – вероятно, задал уточняющий вопрос. Во всяком случае, такое допущение казалось не хуже какого-либо другого, потому что незнакомец зачем-то произнёс: «А ничего», и в следующий момент Глебу стал сниться уже совсем другой сон, ничем не запомнившийся.

Пробуждение состоялось точно по часам: в голову Глеба с течением лет незаметно встроился таймер, и он просыпался за полминуты до звонка будильника. В этот день ему, однако, никуда не нужно было идти; Глеб, уверенный, что Диана, узнай она о таком обстоятельстве, и шага за порог не сделает, наврал ей ещё накануне. Лежа смирно, он дождался звонка и незамедлительно стал её будить. Сонная Диана не сразу разобралась, в чём дело, и Глеб, еле сдерживаясь, всячески торопил и подгонял. Наконец до неё дошло; Диана встала и начала приводить себя в порядок – кошмарно медленно. Глеб положил себе пальцы на запястье: пульс не частил, но бился напряженно, с несвойственной ему силой.

– Я тебе нравлюсь? – стоя в одних туфлях, Диана закусила губу и повернулась на каблучках.

– Да, – ответил Глеб, и ответ был честным.

– М-м-м... – Диана приблизилась и опустила перед ним на корточки.

Он понял, что если не сможет с собой совладать, то день полетит к чертям свинячьим, и отпрянул.

– Клянусь, мне некогда, – вымолвил он умоляюще. – В следующий раз. Оденься, не дразни меня.

– Следующего! Раза! Может! И! Не! Быть! – пропела Диана, распрямилась и пустилась вприпрыжку по комнате, включив на бегу музыку. Глеб уныло следил за её перемещениями, через силу выдавливая восхищенную улыбку. Животное желание быстро угасло, и он хотел одного – чтобы подруга поскорее убралась из квартиры ко всем чертям. Ему хотелось побыть в одиночестве, а с матерью и отцом он как-нибудь справится. Может быть, даже заставит их вывести погулять надоеду Джима, который был замечательным псом, но его замечательность Глеб в настоящий момент тоже понимал не сердцем, а умом.

– Бог с тобой, – внезапно решила Диана. Ей понадобились какие-то полминуты, чтобы одеться, еще три-четыре ушли на скоростной грим. Она подцепила сумочку и застыла на пороге, молча рассматривая Глеба. Он вскочил и с досадой отметил, что сделал это слишком резво; провести Диану было невозможно, и прощальный поцелуй не состоялся. Глеб отворил дверь, осторожно выглянул в коридор – никого. Нетерпеливо махнул Диане рукой: дескать, путь свободен. Та быстро вышла; Глеб отомкнул замки, снял цепочку. Лязгнуло железо, и Диана перешла на лестничную площадку. Ни слова не говоря, она стала спускаться по лестнице.

– погоди, – позвал Глеб шёпотом, но она не обернулась. «Никуда не денется», – подумал Глеб, мгновенно оценив сложившуюся обстановку. Он вернулся в комнату, запрокинул голову – с потолка, подобно летучей мыши, смотрело на него печальное, утомленное лицо.

...Квартира ожила: снова послышалось шарканье матери, закашлялся отец. Из кухни донеслось позвякивание кастрюль, зашумела вода. Кашель приблизился, дверь в комнату Глеба распахнулась. Нарисовался батя – в спортивных штанах и в майке. Голова его мелко тряслась, губы были плотно сжаты.

– Вот что, парень, – начал он без предисловий. – Ты это брось. Ты мать в могилу сведёшь.

– Мне тридцать восемь лет, папаня, – скучным голосом сообщил Глеб.

– Ты язык-то придержи, – повысил голос папаня, и было ясно, что ещё чуть-чуть – и он начнет бить и крушить всё подряд. Очки сползли на кончик носа, на лысом черепе удобно устроился солнечный зайчик, на короткое время прорвавшийся сквозь тучи за окном. – Знаешь, что мне про неё говорили?

Глеб закатил глаза. Он понял, что договориться не удастся, и Джима выводить ему. Вот и замечательно, этим и займётся. Он начал искать поводок, стараясь не слышать отцовские разглагольствования. Тот прекрасно знал, что лупит горохом о стенку, но остановиться не мог и продолжал выполнять родительский долг, постепенно приближаясь к визгу.

– Мудрый ты, папуля, – улыбнулся Глеб. Одна беда: у тебя, сдаётся мне, стоял всего однажды в жизни – в тот недобрый час, когда ты делал меня. И что ты можешь знать?

Отец запнулся и притих. Глеб, продолжая улыбаться, прицепил Джима и вышел из квартиры. То, что будет твориться за спиной, его не тревожило. Джим, плохо разбирающийся в тонкостях людских отношений, восторженно натянул поводок. Язык у него вывалился, дыхание участилось. Вся собачья судьба, казалось, зависела от того, насколько скоро он окажется возле дерева и задерет на него лапу.

«Хорошо бы, тебя не было, – подумал Глеб. Или нет: пусть ты будешь, но где-то в отдалении, в полном здравии и порядке. Чтоб я это знал. А сам бы сидел себе на скамеечке и ни о чём не думал. И был бы абсолютно спокоен, как скала».

Он отстегнул поводок, и пёс мгновенно умчался куда-то за помойку. Это совпадало с желаниями Глеба; хозяин сел, как и мечтал, на скамейку, достал папиросы и спички. Сентябрьское утро, тёплое и пасмурное, лениво просыпалось, готовясь перелиться в день.

Глеба обожгло: едва он занёс спичку над коробком, как вкрадчивый ночной голос напомнил ему, что он должен поднять камень. Камень же валялся рядом, под ногами, размером с детский кулачок, ничем не примечательный. Первой мыслью Глеба было его наподдать, но Глеб сидел, и потому полноценный пинок исключался. Собственно говоря, почему бы и не поднять? Ещё одно бессмысленное действие, каких миллион. Он подался вперёд, протянул руку, и камень лёг в ладонь. Справа зазвякало стекло; Глеб повернул голову и увидел, что рядом, на скамеечку, присаживается похмельный пенёк из недавнего сна. Нелепое создание уселось, в ногах у него, внутри целлофанового мешка, раскатились пустые пивные бутылки.

– Вот ты и нашёл философский камень, – заметил мужичонка, глядя прямо перед собой. – Что ж, с почином. Поздравляю, если не будет возражений.

Глеб понимал, что отвечать незнакомцу – полнейшая глупость, но как-то всё оно вязалось друг с другом – сон, камень, скамейка, Джим.

– Чего вы плетёте? – спросил он грубо.

Бродяга надсадно закашлялся, харкнул навозной слюной.

– Козлы всякие, – сказал он про что-то свое миролюбиво. – Ведь сами орали и орут: искать, искать! И не ищут. Че угодно делают, только не это.

Глеб решил не отвечать. Минут на пять его хватит, а после он встанет и уйдет сам.

– Книжек понаписали, трактатов, – сетовал прилипала. Глебу показалось, что слово «трактат» не должно содержаться в словарном запасе собирателя стеклотары. Значит, собиратель сумасшедший, из падших гуманитариев. То, что говорил мужичонка далее, укрепило Глеба в этом предположении.

– В ретортах – сера и ртуть, на столах – чертежи с пентаграммами. Адам Кадмон, да Тетраграмматон, эти их душу. А то еще расплодилось мастера копать в подсознании – дескать, камень – это метафора, иносказание. Дескать, суть – в обнаружении краеугольного камня внутри себя, химический брак разноначал. Дело-то в другом! Все же просто, как помидор.

– Ну, довольно, – перебил его Глеб, вставая. – Видно, нечем психов кормить, вот тебя и выпустили.

– Обои были дрянь, – не отставал вольноотпущенный псих. – Я бы на твоём месте их не слюнями растирал, а просто содрал бы совсем – и вся любовь.

Огорошенный Глеб сел обратно, разжал кулак и тупо уставился на камень.

– Я что хочу сказать, – мужичонка состроил гримасу, которая должна была, по его разумению, отражать мудрость, обретенную в тяжких муках и долгих скитаниях. – Некоторые вещи надо понимать буквально, как сказано. Поставлена задача: искать, значит, надо выйти на дорогу и примитивно, без задвигов и загибов, искать – как грибы. Или как детишки ищут желуди. Или как иголку в стогу сена. Я имею в виду: встань и иди. Только слишком это по-простецки, без подковырок, многим не нравится. Горд человек, любит ходить путями нехоженными.

Философ тяжело вздохнул, пошарил под ногами, осторожно поднял мешок.

– Стойте, стойте, – Глеб снова перешел на «вы». – Как вы узнали про обои? Кто вы такой?

Тот поднес к губам палец и с пошлой, манерной значительностью покачал головой. Глеб почувствовал себя героем скверного романа.

– В таком случае мне ваш камень не нужен, – сообщил он неуверенно. – Откуда мне знать? Вы, вон, мысли читаете. Может, и камень какой заговоренный, заряженный...

Бродяга поднялся со скамейки, огляделся и вместо ответа указал на стройный тополь с листвой, утомленной стареющей, пыльной зеленью.

– Красиво, правда? – спросил он у Глеба. – Чудо, а не дерево. Картинка. Поразмысли-ка над ней чуток. Сказав эти слова, мужичок отвернулся, поправил картуз и медленно побрел в волшебный край торговых павильонов.

4

Опустив камень в карман куртки, Глеб стал звать пса: «Джим! Джим!» Сосредоточенный Джим вылетел из зарослей акации и галопом понесся не к Глебу, а совсем в другую сторону. Разогнав безмозглую голубиную стаю, он притормозил, вывалил язык и поглядел на хозяина в ожидании оценки своих действий.

– Я тебе! – Глеб сказал это негромко, будто и не Джиму вовсе, будто следовал дурацкому, бессмысленному ритуалу – так оно, впрочем, и было. Предоставив пса самому себе, он перенес свое внимание на тополь. Тополь был и вправду замечательный: высокий, в расцвете сил, готовый к продолжительному безоблачному существованию. А невдалеке от него наблюдался еще один – посолиднее, поверженный на землю недавней грозой. Глеб обернулся, посмотрел, при-

щурясь, на свои окна, затем – снова на тополь, прикидывая расстояние. Да, все сходится: совершенное творение являлось источником опасности. Гроза была нешуточная, случись еще одна такая – и чудо природы врежется верхушкой точно в кухонное окно. Очередное подтверждение мысли, что сколько бы не было прекрасно прекрасное, разумнее созерцать его издали. Пламя костра завораживает, но слишком близко подходить не стоит, и так – везде, во всем. Неплохо бы выйти вообще в какое-нибудь иное измерение и любоваться делами Божественных рук с безопасной дистанции, отстраненно и безучастно. В конце концов, любому может надоесть обжигаться. Жизнь как таковая – соблазнительный негаснущий огонь, и жадные до острых ощущений мотыльки летят, летят на свет.

У подножия тополя кто-то вырыл маленькую ямку – может быть, собака зарывала кость, может быть – ребячьи игры в пиратов-разбойников и сооружала тайник. Глеб внезапно понял, что ему отчаянно хочется вложить камень в это углубление. «Башню свезло», – подумал он по этому поводу, вынул камень из кармана и положил в ямку. «Очень мудрый поступок. Пусть он тут и останется, и выкинем из головы сумасбродные рассказы многоученого бомжа». Глеб отступил на пару шагов, в последний раз окинул взглядом дерево и пошел разыскивать Джима. Ловля пса заняла не менее пяти минут; когда Джим был пристегнут, Глеб поволок его домой, а пес сопротивлялся, как мог: упирался лапами в землю, пропахивая в ней жалкие бороздки, кусал поводок, насакивал на хозяина, но его протесты были напрасны: нечего, нечего! Уже поднявшись на крыльцо, Глеб не удержался и опять поглядел на опасно-прекрасный тополь: на месте дерева образовался узор.

Не спуская с него глаз, Глеб нагнулся, нащупал застежку и отстегнул Джима. Тот возликовал и мигом унесся обратно, к одному ему известным сокровищам. Глеб медленно выпрямился и осторожно пошел к тому, что увидел.

Тополь остался тополем, но сделался как бы нарисованным на бумаге: будто некий коровий язык, истершийся в сказках, начисто слизнул треть измерение. И только теперь стало ясно, насколько лишним было это добавочное измерение, до какой степени надежно скрывало оно чудесную сущность растения. Это было дерево в себе, увиденное и воспроизведенное гениальным живописцем. Так мастера иконописи отслеживают лик за ликом бесконечно многообразную явленность одного-единственного святого – каждый переносит на доску что-то свое, лишь ему одному в достаточной полноте открывшееся. Сутью тополя оказался узор, в точности повторявший переплетения ветвей, мешанину листвы и даже солнечные блики, невозможные в пасмурный день. Глеб попытался обойти вокруг дерева в надежде уловить малейшие признаки материальности, раскрыть оптический обман, но всякий раз ствол являлся ему плоским. Это было изображение в чистом виде, лишненное даже микроскопических утолщений, которые неизбежны при рисовании реальными, на веществах основанными красками. В кроне дерева, несмотря на легкий ветер, прекратилось всякое движение, и шелеста листьев не было слышно. Исчезла и тень, хотя прозрачным растительный узор не стал. Особенно странной предсталась ямка с мирно лежащим в ней камнем: она, окруженная бесплотными корнями, ничуть не изменилась, сохраняя глубину и ширину. И было понятно, что в нынешнем состоянии тополь уже не представляет никакой угрозы кухонному окну. Глеб протянул руку, коснулся ствола: кора как кора, слегка шершавая на ощупь, в мелких бугорках и выступах. Проведя ладонью вверх, он наткнулся на совершенно обычные сучки, при рассмотрении выглядевшие неровными пятнами. Впрочем, он ошибался: при внимательном анализе ощущений обнаруживалась некая незримая преграда, тончайший слой чего-то постороннего, расположившийся между рукой и объектом. Короче говоря, дерево никуда не делось, оно осталось прежним, но только приобрело новое качество в отношении восприятия Глеба. Оно жило само по себе, он – сам по себе.

В этой картине присутствовало нечто сомнительное, и в то же время Глеб ощущал облегчение, совесть его пребывала непоколебленной: ведь тополю ничего не сделалось, он ни капельки не пострадал, а просто приобрел желательные Глебу свойства. Он нагнулся, вынул

камень из ямки и принялся ждать – что-то будет дальше? Перемен, однако, не произошло, нарисованный тополь оставался нарисованным. Отныне им можно было спокойно любоваться, не чувствуя при этом никакой ответственности за предмет восхищения. Близкий объект уподобился далеким звездам, при виде которых сердце наполняется печальным восторгом и чье влияние на земного наблюдателя практически не ощутимо, хотя и существует, если верить утверждениям некоторых ученых мужей.

Глеба охватило ликование, он подбросил камень на ладони, и тут же его пронзила мысль: что, если камень окажет на него такое же воздействие? Он, сколько мог, осмотрел себя с головы до пят, похлопал по плечам, бокам, бедрам – похоже, все на месте. Наверно, решил Глеб, обладатель камня не подвержен метаморфозам, имея в то же время власть преобразовывать мир – одновременно великолепный и опасный – в совершенное произведение искусства, в магический неподвижный узор, несущий радость в чистом виде, без примеси страха, без тени сожалений по поводу его несовершенства. Недолго думая, он быстрыми шагами приблизился к следующему дереву, на сей раз разлапистой лиственнице, положил камень в основании ствола и замер в ожидании. Он полагал, что изменения наступят постепенно, но они произошли в мгновение ока, всего лишь десяток-другой секунд спустя. Глеб принялся самозабвенно кружить по скверу, помещая находку то в одно, то в другое место, и все деревья по пути его следования застывали миражами, попутно раскрывая свою внутреннюю, до сих пор недоступную восприятию прелесть. На десятом или одиннадцатом дереве Глеб остановился, как вкопанный: он напрочь позабыл, что помимо него вокруг могут находиться и другие люди – неизвестно, как отнесутся посторонние к его необычному занятию. Очень скоро выяснилось, что никак: редкие прохожие равнодушно проходили мимо, не замечая вокруг себя ничего удивительного.

«Как странно, – подумал Глеб. – Одно из двух: либо они окончательно разучились воспринимать что-либо, кроме самих себя, либо все происходит лишь в моем воображении. В последнем случае получается, что меня одолевают иллюзии, и никакой остановки нет. Тополь рано или поздно рухнет, а затейливый узор обернется фикцией, самообманом».

Но в этот момент к нему подбежал, виляя хвостом, Джим, и Глеб схватил его за ошейник.

– Пстой спокойно, дружище, – сказал Глеб и задумчиво повертел камень в пальцах, прикидывая, куда бы его приладить. Был бы намордник – дело решилось бы просто: положил бы, как в мешочек, однако Джим по праву слыл исключительно мирным, приветливым псом, и намордника ему не покупали. Подсунуть под ошейник? Выскользнет, как пить дать. Или нет? Попробовать, во всяком случае, стоило. Он оттянул ремешок, сколько мог, и прочно утвердил камень на собачьем загривке.

5

– Мама, мама, смотри – собачкин памятник!

Крохе лет пяти стоило немалых трудов притормозить мамашу, дебелий сонный инкубатор о двух ногах. Та, наконец, остановилась и внимательно всмотрелась в предмет, на который возбужденно указывала дочка. На белом заплывшем лице проступило настороженное недоумение. При первом же крике девчонки Глеб поспешил устраниваться: он быстро отошел в сторону, закурил и сделал вид, будто ничто из окружающей действительности не имеет к нему отношения.

– Можно, я подойду потрогать? – в вопросе заранее звучало отчаяние.

Родительница хмурилась, не зная, как решить.

– Пошли отсюда, – приказала она в конце концов.

– Ну мама! – страшные ожидания полностью подтвердились, кроха топнула ногой.

– Я кому сказала!

Дети – они наблюдательные, все подмечают. Дождавшись, когда дочери-матери покинут двор, Глеб крадучись приблизился к Джиму и сделал попытку его приподнять, подсунув руку под брюхо. Джим не сдвинулся с места, подобный плоской деревянной лошадке, прочно загнанной в грунт для улады ребятишек. Немигающие собачьи глаза смотрели прямо на хозяина, в приоткрытой пасти окостенел язык. Хвост-пропеллер, застигнутый параличом в момент бешеной раскрутки, торчал под углом к основной телесной плоскости. Глебу стало очевидно, что пес так и останется во дворе. Рано или поздно он сделается предметом дискуссий, начнется паломничество ученых, а потому надо спешить. В конечном счете виновника вычислят, обложат, словно зверя, попытаются захватить, изолировать. Создадут резервацию, обнесут заборами и колючей проволокой. Что ж – придется их упредить, отхватить себе под санитарную зону как можно больший кусок пространства. Необходимо придумать способ обезопасить себя по возможности эффективно и быстро. Вряд ли ему удастся сделать узором весь мир, на это не хватит жизни, но часть мира, среду постоянного обитания, малую родину...

В последний раз бросив взгляд на дело рук своих, Глеб устремился домой. На ходу он придумывал убедительный рассказ про Джима – как он потерялся, какие меры будут приняты с целью розыска. Не стоило слишком напрягать мозги, поскольку врать придется недолго. Глеб ворвался в квартиру возбужденный, хлопнул дверью, в отчаянии швырнул поводок.

– Завтракать будешь?

Мать, вытирая руки посудным полотенцем, вышла в прихожую.

– А где собака?

– Представляешь, – затараторил Глеб, вращая глазами, – смылся! Только-только был рядом – и нет! На-ка, поддержи...

Он сунул матери камень, и та машинально сгребла его в горсть.

– Так надо поискать! – она удивленно вскинула густые, колючие брови. – Что это за штука?

– Держи, не урони! – приказал Глеб вместо ответа. – И ради Бога – не клади никуда! Ну, хочешь, сунь в карман передника.

– Черт знает, что, – проворчала та, пожимая плечами. Она их так и не опустила, Глеб даже непроизвольно зажмурился. От матери остался только образ, и Глебу на миг померещился серебристый оклад. Камень выпал, со стуком ударился об пол и немного прокатился. Мать стояла неподвижно, с бессмысленным удивлением, увековеченном во взоре. Обойдя фигуру боком, Глеб перебрался в отцовскую комнату. Батя уже сидел на постели и совал босые ноги в шлепанцы: шум привлек его внимание, и он намеревался выяснить, что происходит. Глеб опустился рядом и положил на отцовские колени предусмотрительно подобранный камень.

– Батя, ты только не перебивай, – начал Глеб. – Это потрясная штука. Это... это... как бы тебе растолковать... м-м-м... – Он замычал, якобы расписываясь в неумении подобрать слова. Отец, от природы любопытный до чертиков, терпеливо ждал, готовый на время забыть недавнее оскорбление. – М-м-м... – не унимался Глеб. – В общем, иду я по тропинке, вижу – что-то странное валяется, вот-вот наступлю. Ты меня слушаешь? – Он задал этот вопрос просто так, хотя и знал наверняка, что уже никто его не слушает: ухо прежде разума отметило остановку хриплого старческого дыхания. Глеб чуть отодвинулся и посмотрел: ну, вот и все.

Он тихо встал и бесшумно вышел вон, прошел к себе, стараясь не касаться иконописной матушки. Очутившись в своей комнате, подошел к окну, осторожно отвел занавеску. Окно выходило на пустырь, Джима и деревьев видно не было – чтобы их узреть, надо отправляться на кухню, но Глеб почувствовал, что сейчас не может этого сделать. Поэтому он оставался стоять истуканом и жадно высматривал в пейзаже признаки нездорового оживления, паники, суеты... Снаружи, однако, было тихо и буднично. Глеб отвернулся.

Семейный альбом – вот на что это похоже, подумал он. Семейные альбомы он мог рассматривать часами, буквально сливаясь с черно-белыми жуками в черно-белом же янтаре. Ему

никогда не надоедало вновь и вновь устанавливать внутреннюю связь с теми, кто ушел навсегда, или с теми, кто сами по себе пока еще находились рядышком, живую, но те, кем они некогда были, переместились на картон – то глянцевый, то матовый. Они – и первые, и вторые – всегда находились под рукой, он мог вести с ними пространные беседы, лишённые подчас всяческого содержания – порой дело доходило до элементарных гласных звуков, и Глеб тогда останавливался, пребывая не в полном еще сознании, находясь в лишённом бытия промежутке между двумя мирами. Иначе, как сентиментальностью, такое не назовешь. И что же в сентиментальности ужасного? Всегда, стоит сбиться на сантименты, присоединяется непонятный стыд, возникает неловкость, желание сотворить некое хамство вопреки недавнему настроению. Видимо, с тем, кто любит жизнь настолько, что не смеет оказаться с нею лицом к лицу и вынужден ограничиваться созерцанием, полным грусти, не может быть по-другому. Да, он не в силах выносить все, что любит, в натуральном, трехмерном виде – пусть тогда будут узоры. Они не заговорят, не обидят, не ударят, но зато навсегда останутся при нем, под боком, готовые к безмолвному общению. Жаль, что в альбоме не будет Дианы, он бы выделил ей отдельную страницу. Но Диана, если и придет, то только вечером, а к вечеру в округе многое изменится. Скорее всего, она просто не осмелится дойти до квартиры. Он много бы дал за возможность увидеть ее обездвиженной, в неугасаемом сиянии внутренней красоты, ставшей наконец-то видимой.

Глеб не сразу понял, что в дверь звонят. Про себя он уже решил, что звуков больше не будет. Ступая все так же бесшумно, он прокрался в коридор и встал возле двери. Прислушался, и тут звонок ошпарил его снова.

– Кто здесь? – спросил Глеб встревоженно.

– Я, открой, – ответила из-за двери Диана. – Я серьги забыла.

Глеб смешался, он не мог поверить в свое везение.

– Хорошо, сейчас, – вымолвил он после паузы. – Очень кстати – у меня для тебя есть сюрприз. Только уговор: закрыть глаза и не открывать, пока не скажу.

Из-за двери донесся вздох. – Ладно, закрою, – послышался раздраженный голос. – Открывай скорее, я тороплюсь.

«Как же, торопишься ты», – подумал Глеб, и приотворил дверь. Диана, разумеется, пялилась на него во все глаза.

– Ты обещала, – возразил на это Глеб с невозможной суровостью.

Та просунула ногу в щель и зажмурилась. Глеб взял ее под руку и быстро провел мимо матери в комнату с зеркальным потолком.

– Можно смотреть? – спросила Диана, и в голосе ее прозвучало отчаянное желание поскорее ознакомиться с сюрпризом.

Глеб разрешил, та обвела взглядом комнату и разочарованно поджала губы.

– погоди, не спеши, – Глеб слегка коснулся ее руки. – Имей хоть чуточку терпения. Раздевайся, иначе сюрприз отменяется.

– Все ты врешь! – воскликнула Диана. – Сказано же: я спешу, – и сразу стало ясно, что врёт она. Глеб загадочно безмолвствовал, и Диана сдалась.

– Не ожидала, – протянула Диана, и покорно расстегнула юбку. – А где же святое семейство?

– Выгнал выгуливать пса, – Глеб молча смотрел, как она аккуратно складывает одежду на выцветший пуфик. Когда стриптиз состоялся, он осторожно толкнул ее в плечо, и Диана опрокинулась на спину, отразившись на потолке.

– Вот, – Глеб положил ей на грудь камень.

– Не поняла, – Диана взяла сюрприз и принялась сосредоточенно изучать. Лицо ее становилось все более хмурым.

– Конечно, так вот с ходу не поймешь, – согласился Глеб. – С виду простой булыжник, но в нем сокрыты замечательные свойства. Он превращает все, с чем соприкоснется – кроме своего хозяина – в узор. Узор уникальный, волшебный, какого не видывал свет. Я часто думал: как было бы здорово не трогать тебя, а просто находиться рядом и смотреть, как ты лежишь, унесшись мысленно в далекие края, полные соблазнов. Как было бы прекрасно не слышать тебя, и говорить самому – сколько влезет, до сухости во рту, до боли в языке. И сколько странного очарования таилось бы в пухлом гербарии, где ты сохранялась бы в виде хрупкого кленового листа, засохшего двести лет назад, но так и не растерявшего красок. Позволь же пригласить тебя в альбом – я обещаю посвятить тебе стихотворение и написать его рядом. Я прочту его вслух и раз, и другой, и третий, а ты останешься лежать, как лежишь сейчас, взирая на себя саму, в такой же степени нетленную, потому что отражение не может истлеть. Одно мне интересно: слышишь ли ты меня сейчас? довольна ли ты? какие рождаются – если рождаются вообще – идеи и мысли в твоей голове? нравятся ли тебе твои волосы, отныне и навсегда оплетшие подушку бесплотной паутиной?

6

– Восхитительно! – так, с неподдельной искренностью, обратился поклонник, зашедший к художнику на огонек. – Особенно мне нравится вот эта, с человеком в центре. Как живой! Все, что вокруг, нереально, хоть и выписано с очевидной дотошностью, а он один – почти реален! Создается впечатление, что он сию же секунду шагнет в эту комнату.

Польщенный художник усмехнулся и посоветовал:

– Подальше, подальше отойдите! Разве вы не знаете, что картины не рассматривают, уткнувшись в них носом. Вы бы взяли еще микроскоп: тогда бы вам крупно повезло, вы увидели бы бугры, бороздки и массу прочих несовершенств Творения – хочется вам верить, что с большой буквы. Отойдите сюда. Вот так. Согласитесь – с этого места он гораздо живее!

– Совершенно верно.

© сентябрь 1999

Пора на дембель

Я лежу в шезлонге, закинув ногу на ногу; легкий ветер утешает мои обожженные щеки. Паром как будто застыл – он, в сущности, простая декорация. Плыть никуда не нужно, берег вырастет перед носом сам по себе, в положенный срок, а судоходный антураж лишь скрашивает ожидание. Палуба чуть покачивается, восторженно кричат какие-то птицы, сильно напоминающие чаек.

Может быть, я оставил на действительной службе частицу жизни. Возможно и другое – захватил частицу нежити на гражданку. Страх и восторг сплелись во мне, родив тревожное ожидание. Чтобы чем-то себя занять, я пишу эти строки. Сам не разберу – то ли оттягиваю миг долгожданного свидания с близкими, то ли приближаю его, отвлекаясь. Истина, разумеется, где-то здесь, в нейтральных водах, только на пароме долго не удержишься, надо определяться, ибо наш Верховный Главнокомандующий не любит полутонов. Ему подавай либо холодного, либо горячего, иначе изблует из уст.

Итак, я убиваю время и описываю последний денек своей долгой, очень долгой службы. Но когда он, этот денек, наступил? Трудный вопрос; видимо – когда я проснулся, но это событие о времени ничего не скажет – тем более, что в отключке я валялся самую малость. То есть ночь для меня закончилась, а ночь – это когда спят и душевно витают над каким-то иным участком местной реальности, что ничуть не облегчает положения. Хрен не слаще редьки: еще неизвестно, где придется солонее. Горше, я хочу сказать. Когда не спишь, тогда пусть и жарко, и в пламени разных страстишек полыхаешь-не сгораешь день-деньской, но все же более или менее знаешь наперед, чего ожидать. А во сне, хоть там вокруг все то же самое, знакомое, почему-то начинается всякое «жамэ вю», то бишь «никогда не виденное». Стоишь перед той же опостылевшей выгребной ямой, словно в первый раз, словно ни разу не окунался с головкой и понятия не имеешь, как там, внутри, а впереди – целая жизнь. Вот в чем своеобразие ночных часов, в прочем же никакой разницы нет. Те из наших, кого терзают бессонницей, день ото дня не отличают. И кто сказал, что здесь у нас не хватает света? Этот пророк, несомненно, теперь свою ошибку уяснил: за его пустую болтовню, а больше – за неумный интерес к проблеме как таковой, ему предписали переселиться в наши края и посмотреть, что к чему, если так сильно хочется. Вот такая, значит, получается ночь – светлая, горластая, трескучая от жара, она же – день.

На исходе ночи мы взяли за новичка. Новичок – понятие тоже условное. В новичках он ходит недолго: любой, к нам угодивший, немедленно проникается мыслью, что застрял в бесконечности. Неважно, сколько ты продержался; старожил ли ты, новобранец ли – вечность есть вечность, и привычные сроки ей не мерило. Она остается вечностью, даже если ее лишь пригубили, лишь смочили ею губы. Поэтому здесь как-то не принято делить личный состав на чижей, салаг, черпаков и дедов. Но все-таки, потехи ради, новичков выделяют. Они, уже вкушившие безвременья, уже простившиеся с надеждами и погруженные в родственную гниль, пока не успели разобраться в тонкостях и нюансах своего положения. Откровенно говоря, никаких нюансов нет, но именно этого они еще не заметили. Поэтому, из неизбежного эгоизма исходя, их на первых порах разыгрывают – сравнительно беззлобно, безобидно – до тех пор, пока те воспринимают происходящее как розыгрыш и не видят за шуткой беспощадного постоянства. Когда они начинают это понимать, розыгрыш, как ни в чем не бывало, продолжается. И в итоге оборачивается монотонным кошмаром, опостылевшей рутинной для самих шутников. Но и после этого ничего не меняется, и выходит так, что сомнительное удовольствие от жалкой каверзы возможно только в самый первый раз, когда перед тобой – новая фигура, свежая личность, не подозревающая, что Сизиф уже поплевал на ладони.

В конце концов бездарная шутка настолько укореняется в сознании жертвы, что плавно перемещается в сны, где обретает утраченную новизну и лишается реального аналога, а реальность тут же преподносит нечто новенькое, которое на поверку оказывается хорошо забытым старым.

В общем, мы, не мудрствуя, осторожно привязали к духовному прообразу гениталий духовный прообраз сапога. Новичок спал тревожным сном; мы без лишнего усердия размахнулись и метнули сей снаряд таким манером, что голенище шлепнуло по лицу – старая армейская забава. Спавший с воплем пробудился, возмущенно уставился на сапог и, уразумев, что перед ним такое, схватил его и, ослепленный яростью, запустил в нас – кротких и смиренных. Спросонья он не заметил веревки – в том и состояла шутка.

Мы невесело загоготали, наблюдая, как болевые ощущения в паху прилагаются к воздействию белого свирепого огня, что сразу, едва новенький проснулся, возобновил работу. Тлела, набираясь ума-разума, каждая клетка грешной эфирной субстанции. И личный червь – один из миллиона – конечно, не дремал: больше змей, чем червяк, подобие и порождение своего древнего и мудрого предка, он завертелся ужом на сковороде, кусая нервные узлы.

Должно напомнить, что это не так ужасно, как малюют. Вот, устрашится кто-нибудь: сказано всего ничего, а все уж нашпиговано ужасами. Но служба есть служба, чего-то подобного мы ждали – вот и получили. А вечности достаточно, чтобы привыкнуть ко многому, за свободу же полагается платить. Мы здесь не чаи распивать собрались, тут из любого лежебоки-белоручки в момент сделают настоящего человека – школа, обязательная для каждого. Могущий да вместит. Коли ты создан свободным отказаться от всего благотворного и жизнеутверждающего – откажись. Спорить бесполезно – от века начертан в высших сферах закон о всеобщей повинности. И, скажу прямо, лучше не отлынивать, не косить. Честное слово – не по душе мне так называемые альтернативные службы. Без них себя чувствуешь увереннее, а то еще затеряешься в буддийской нирване или окажешься в плену неорганических миров среди индейцев-толтеков – вот где, как рассказывают, полный абзац. Так что от заморских влияний и новшеств мы не в восторге – привыкли к здешним условиям: любая напасть умялется, едва напомнишь себе, что ты – свободная личность, на костер и червяка согласился по внутренней склонности, ибо выбор – единственный поступок, где ты самостоятелен. Потому что дальнейшее, что бы ты ни выбрал, все от Верховного: и кущи райские, и адское пламя. Сильный, пытливый умом индивид выберет последнее, ибо в куцах неизбежно все равно окажется – рано или поздно. В этом – червь и скрежет зубовой: неотвратимость спасения.

Как-то забежал один субъект, считавший прежде, будто вечный червь и вечная скорбь ада – из-за вечного сознания отлученности от блага. Потом же только головой качал: как ошибался! Совсем наоборот: скрипят и стачиваются клыки с резцами при мысли о возвращении на гражданку, где уж не будет ни зла, ни выбора между ним и добром. И сами воспоминания о прошлых деяниях эфирных тел, о гордом отречении, о добровольно предпочтенном бичевании – все накопленное, нажитое постепенно померкнет, потускнеет вблизи от лучезарного Абсолюта.

Ведь человек, как сказано, сплошное зло, нет у него ничего своего, кроме возможности выбрать. Вот живет он, как может, не смыслит ни капли ни в себе, ни в своем создателе, и до того ему хреново, что только об одном и мечтает – попасть на Небеса. А раз мечтает, то, по милосердию Верховного, непременно попадет. Только в Небесах у него не останется личного, а будет лишь оболочка, которую Верховный заполнит благодным сиянием. И тому, во что превратится наш субъект, дадут понять, что все его земные мытарства и хлопоты – ничтожная суета, и нет ничего кроме Творца, а что от человеческой самости – то зло, своеволие, соблазн. Потому и не пустует преисподняя, в ней кто пуще других возлюбил себя самого – тот поглубже, а кто так себе, мелочь и шелуха, и даже Господни славные лучики худо-бедно улавливает – того к нам, на обычную действительную службу. Здесь все, в общем, неплохие

ребята – их беда, что слишком самостоятельны и лучше будут строем ходить, чем образовывать сосуды под Божьи замыслы.

Но рано или поздно все потянутся вверх – иных заберут с потрохами, с грузом больной памяти, других поурежут в эманациях, самых же закоренелых обкорнают так, что останется от них только светлое зернышко, а все остальное, в чем смысл и суть их жизни, отправят на свалку. По мне, так этим даже легче. Лично я думаю о гражданке со страхом. Вот, дембельнусь, полечу в верха, где ждет не дождется любимая, уже свое отслужившая. Хлебнем мы нектара, сольемся в самозабвенный конгломерат под звуки ангельских арф – а дальше? Выйдешь, бывает, на плац и ловишь себя на мысли: а ведь, неровен час, станет мне жалко всего этого. Сколько здесь пережито, каждый уголок и к заднице приложен, и на зуб попробован! Смогу ли я после этого жить-поживать среди добропорядочных цивилизованных?

Был я как-то в увольнении, сгонял на Небеса – в самые, между прочим, нижние, несовершенные. Меня там приняли неплохо, так как сохранялось во мне помимо адского еще и другое, светлое начало. Правда, оно пребывало в черном теле – простите за каламбур. Погулял, поглазлел по сторонам. Внешне, конечно, нас там всячески превозносят. Везде плакаты понатыканы с изображением героических сынов, которые в трудной обстановке доказывают, что нет ничего, кроме Создателя-Верховного. Ну, побродил по музеям и храмам, родителей навестил, да не застал папашу: говорят, он тоже покамест внизу, в духовном прообразе ресторана обжирается нечистотами. Зашел в Комитет матерей, что под председательством Пресвятой Богородицы, рассказал им о нашем житье-бытье – там только ахали да руки себе ломали. Обещали ходатайствовать перед Верховным – дескать, пускай поторопится с приказом. А я все думаю: ахают, восхищаются, соболезнуют, но не знают, не понимают. Интересно, что было бы, сделай я кому-то на гражданке «велосипед»? или привязал бы тот же сапог? Те, кто дембельнулся, часто пишут нашим, что чувствуют себя чужаками на празднике жизни. Организуют всевозможные клубы и ветеранские общества, по праздникам упиваются в лежку и пугают гражданских. Большею частью им все прощают в память о тяжких веках испытаний, но если уж кто разоидется – препровождают вниз, но не в часть, а в зоновский прообраз, где полный беспредел. Однако многим того только и нужно, там они и остаются, и сидят, ожидая последнего суда, точимые червем грядущего прощения и поражения в правах.

Но вернемся к новичку. Поскольку он проснулся окончательно, я вздумал показать ему кое-что из адских достопримечательностей. По внешности новичка, которая в потустороннем мире вполне соответствует духу, было совершенно очевидно, что в миру он мыкался армейским политработником. Круг его интересов не представлялся, таким образом, чем-то непостижимым. Именно с политработы я и начал: привел его в кинозал, где круглосуточно крутили триллеры и садизм с мазохизмом хлестали через край. В зрительном зале царил мрак и смрад, на последнем ряду кого-то с резиновым скрипом драли, самозабвенно пыхтя от ненависти к партнеру и любви к собственной персоне. Я искоса поглядывал на своего спутника и отмечал, что зрелище любо ему: он протемнялся ликом и только поеживался от страстного пламени, жадно его пожиравшего, да отбивался от неугомонного червя. Поначалу все такие – я-то привык давным-давно, огонь мне не мешает, а с червем искупления мы даже пускаемся в разговоры. Он, бывает, злорадствует: вот, мол, дембельнешься – сожру тебя без остатка, а я отвечаю: так то когда еще будет, а пока помучайся, поскорби о моей пропащей душе, повертись голодным – ведь ты не насыщаешься вовек, и пока что ни крошки моего естества не пошло тебе впрок.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.